

ЭЛЬ КРАВЕН

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ПОСЛЕДНЕГО
РОДА

Эль Кравен

Управляющий последнего рода

<https://litres.ru/74249637>

SelfPub; 2026

Аннотация

52 000 рублей долга. 47 рублей 18 копеек в кассе. 30 дней до аукциона.

Я приехал в Петербург исполнить последнюю просьбу погибшего командира: спасти его дочь и родовую усадьбу. Только спасти почти нечего. Дом разворован, слуги разбегаются, наследница никому не нужна, а князь-кредитор уже считает их частью имущества.

Я не великий маг, не тайный князь и не попаданец. Я отставной интендант. Системы у меня нет; только Дар Меры, опыт и привычка наводить порядок там, где остальные уже пишут опись. За месяц я должен вернуть дому доход, собрать команду из тех, кого город списал, и выиграть войну договоров у человека, который покупает чужие судьбы оптом.

Вот только кредитору нужна не усадьба. Под домом Белогорьевых спрятан ключ к магической сети Петербурга. И если я проиграю, крыши лишится целый город.

Содержание

Глава 1. Дом без хозяина	4
Глава 2. Сорок семь рублей	41
Глава 3. Первое правило хозяйства	87
Глава 4. Комната, которой нет	117
Глава 5. Деньги пахнут гарью	146
Глава 6. Слуги или соратники	180
Конец ознакомительного фрагмента.	197

Эль Кравен

Управляющий

последнего рода

Глава 1. Дом без хозяина

Дом Белогорьевых встретил меня выбитым окном, двумя судебными исполнителями и стариком, лежавшим лицом в клумбе.

Из троих меньше всего вопросов вызывало окно.

— Стой! Я сказала, поставьте на место!

Девичий голос сорвался где-то за воротами. Следом грохнуло дерево, кто-то выругался и сообщил, куда именно он предлагает засунуть фамильную этажерку.

Извозчик покосился на меня через плечо.

— Может, господин, обратно на вокзал?

Предложение было разумным. На Балтийском меня ждали сухой зал, буфет и ближайший поезд в Псков. Здесь — чужой дом, мёртвый командир и возня, которую я двадцать лет называл службой, а последние три недели пытался называть прошлым.

— Сундук снимай, — сказал я.

Извозчик вздохнул с таким чувством, будто только что по-

терял веру в человеческий разум.

Утро выдалось по-петербургски честным: ветер с Финского залива лез под воротник, мелкий дождь не падал, а висел в воздухе, мостовая блестела, словно её натёрли рыбьим жиром. Конец мая, чтоб его. В других местах уже распускалась сирень, а столица всё ещё решала, не вернуть ли зиму.

Я расплатился, спустился с подножки и сразу почувствовал, как левую ногу стянуло от бедра до колена. Дорога напомнила о старом ранении. Старое ранение напомнило, что оно вообще-то никуда не уходило.

Сундук извозчик поставил прямо на тротуар. Один. Небольшой.

Весь мой новый быт помещался в него с запасом.

Усадьба занимала половину квартала — если считать дворовый флигель и сад за высокой кирпичной стеной. Три этажа, светлый камень фасада, колонны у крыльца. Левая колонна треснула возле основания. Над карнизом темнели потёки, водосточная труба обрывалась на уровне второго этажа. Позолоченный герб над воротами сохранил корону, двух медведей и девиз, но нижнюю часть щита закрывала конторская бумага.

ИМУЩЕСТВО ПОДЛЕЖИТ ОПИСИ.

Ниже красовалась синяя печать Северного кредитного общества.

Лепнина ещё держалась, а водосток уже нет. Дом выглядел как офицер на параде, который заранее продал сапоги.

Я взял сундук и вошёл в распахнутые ворота.

Во дворе работали человек пятнадцать. Двое грузили в крытый фургон стулья, трое вытаскивали из парадных дверей свёрнутый ковёр. Чиновник в форменной фуражке стоял под зонтом и сверял номера с длинной ведомостью. Рядом его помощник прижимал к груди деревянный ящик с печатями.

Старик лежал возле клумбы, уткнувшись щекой в мокрую землю. Седые волосы слиплись, правая рука была неестественно подогнута.

Я поставил сундук под стеной и опустился рядом.

— Герасим Фомич!

Девушка в чёрном платье вырвалась из парадных дверей, но дорогу ей перегородил коренастый мужчина в бежевом пальто. Не чиновник. Руки без перчаток, костяшки сбиты, ворот расстёгнут. Такие господа обычно представляли кредитора там, где одной бумаги могло не хватить.

— Барышня, не мешайте исполнению, — сказал он. — Ваш привратник уже помешал.

— Вы его ударили!

— Поскользнулся.

Старик под моей рукой тихо застонал.

— Бывает, — пробормотал я.

Пульс прощупывался. Слабый, но ровный. Крови не было. На правом виске наливалась шишка, а на скуле виднелся след не мостовой и не клумбы — четыре красных полосы от

чужих пальцев.

Я повернул его голову набок, освободил дыхание и расстегнул ворот.

— Эй, — окликнул ближайшего грузчика. — Воды принеси.

Тот остановился со стулом на плече.

— Чего?

— Воды. Чистой. И полотенце.

— Ты кто такой?

— Человек, который пока просит.

Грузчик посмотрел на коренастого в бежевом пальто. Тот едва заметно качнул головой.

— А я пока занят, — ухмыльнулся парень и двинулся к фургону.

Спорить я не стал. Поднялся, снял перчатку, взял его стул за заднюю ножку и потянул вниз.

Не резко. Ровно настолько, чтобы груз ушёл с плеча.

Парень качнулся, попытался удержать мебель и выронил её. Стул упал на мокрые камни. Одна ножка отлетела.

Чиновник под зонтом поднял голову.

— Осторожнее! Предмет номер сорок восемь!

— Уже сорок восемь с половиной, — сказал я. — Вода где?

Грузчик раскрыл рот, посмотрел на обломок и решил, что оскорблён.

— Ты, дед, совсем...

Мне было сорок два. В двадцать пять я бы объяснил ему ошибку подробно. В тридцать пять — быстро. После сорока начинаешь ценить время.

Я шагнул вплотную.

Он был выше меня на полголовы, тяжелее фунтов на тридцать и очень гордился обоими обстоятельствами. Кулак пошёл от пояса — широко, с предварительным замахом. Я сместился вправо, прихватил запястье и продолжил его движение. Ладонью в локоть, носком под пятку.

Парень сел в клумбу рядом со стариком.

Аккуратно. Почти без брызг.

— Воды, — повторил я.

Второй грузчик поставил край ковра на землю и побежал в дом.

— Вы кто? — спросила девушка.

Теперь я рассмотрел её нормально. Восемнадцать, может, девятнадцать. Худое бледное лицо, серые глаза, тёмно-русые волосы собраны в косу, но несколько прядей выбились и прилипли к щеке. Платье когда-то шили для женщины шире в плечах и выше ростом. Подол был подогнан вручную. На воротнике — серебряная булавка в виде медвежьей лапы.

Белогорьева. Других вариантов не требовалось.

— Корнев, — ответил я.

Она ждала продолжения.

— Матвей Сергеевич Корнев.

Имя ничего ей не сказало. Это почему-то задело сильнее,

чем должно было.

— Позвольте пройти к нему.

Коренастый мужчина придержал её за локоть.

— Разговор не окончен.

Девушка дёрнулась, но он сжал сильнее.

Я посмотрел на его руку.

— Отпустите.

Он перевёл взгляд на меня. Неторопливо, как человек, которому нечасто возражали без предварительного разрешения.

— Господин Корнев, не вмешивайтесь в законные действия Северного кредитного общества.

— Я про руку.

— А я про закон.

— Тогда начнём с простого. Руку уберите. Закон покажете следом.

На секунду во дворе стало тише. Даже сидящий в клумбе грузчик перестал ругаться.

Коренастый улыбнулся. Улыбка у него была хорошо отработана: ровно столько зубов, сколько требовалось для угрозы, но ещё недостаточно для протокола.

— Константин Леонидович Лебедев, — представился он.

— Уполномоченный распорядитель Северного общества. А вы, судя по одежде, отставной служака. Не советую путать казарму с частным владением.

— Не путаю. В казармах чище.

Девушка резко выдохнула. То ли подавила смешок, то ли ещё одно ругательство.

Лебедев отпустил её. Не потому, что испугался. Просто решил, что сейчас выгоднее выглядеть благоразумным.

Принесли ведро и полотенце. Я снова присел возле старика.

— Герасим Фомич, — позвала девушка уже тише.

Его веки дрогнули.

— Вера... Аркадьевна?

— Я здесь.

— Не давайте... зеркало.

— Какое зеркало?

Но он снова обмяк.

Я намочил полотенце, приложил к шишке и оглянулся.

Из парадных дверей как раз выносили высокое зеркало в тёмной раме. Стекло почти полностью закрывала серая ткань. Двое грузчиков держали его за боковые ручки, третий шёл впереди и расчищал дорогу.

Из дома уже вынесли серебро, картины и половину мебели. Старик полез под кулак из-за зеркала, которое на вид стоило меньше хорошего шкафа.

Любопытно.

— Господин судебный исполнитель, — позвал я.

Чиновник нехотя оторвался от ведомости.

— Губернский исполнитель Рудин.

— Прекрасно. Покажите постановление, господин Рудин.

— На каком основании?

— На том, что вы описываете имущество дома, управление которым передано мне.

Девушка резко повернулась ко мне.

Лебедев больше не улыбался.

— Что за чушь? — спросил он.

— Чушь обычно короче. У меня шесть листов и приложение.

Я поднялся, вытер руку о собственный платок и достал из внутреннего кармана сложенный пакет. Плотная бумага, сургучная печать псковского полкового нотариуса, поверх неё — тонкая серебряная нить условного поручения.

Пакет проделал со мной девятьсот вёрст. Я успел пожалеть о нём на каждой станции.

Рудин принял бумаги осторожно, не касаясь нити голой рукой.

— Это может быть частным письмом.

— Может. Читайте.

— У нас нет времени проверять каждую бумажку, с которой является неизвестное лицо, — вмешался Лебедев. — Опись производится на основании исполнительного листа столичной долговой палаты.

— Поэтому я попросил показать лист.

— Вы не сторона производства.

— Это мы и выясняем.

Лебедев шагнул ближе. От него пахло дорогим одеколо-

ном и мокрой шерстью.

— Послушайте, Корнев. Не знаю, что вам обещал покойный полковник, но имущество обременено долгом. Дом не спасти. Если будете вести себя разумно, общество оплатит вам дорогу и...

— Постановление, — повторил я.

Он замолчал.

Рудин успел прочитать первый лист. Потом второй. На третьем его брови полезли вверх.

— Здесь сказано, что полковник Белогорьев передал вам условное управление усадьбой в случае своей смерти или признанной недееспособности.

— Я знаю.

— С правом представлять интересы несовершеннолетней наследницы...

— Я совершеннолетняя, — отрезала Вера.

Рудин покосился на неё и продолжил:

— ...до подтверждения её полной имущественной дееспособности либо возвращения старшего наследника, но не дольше тридцати дней с момента предъявления поручения.

— И это тоже знаю.

— Господин Белогорьев не мог единолично передать управление заложенным объектом, — сказал Лебедев. — В договоре с обществом есть запрет.

— В приложении, — подсказал я.

Рудин развернул последний лист. Серебряная нить дрог-

нула и легла на бумагу ровной светлой петлёй. Подлинная нотариальная воля. Не такая эффектная, как фамильная магия, зато в суде от неё было больше пользы.

Рудин достал из ящика плоский латунный футляр, вложил внутрь край документа и повернул ключ. Механизм щёлкнул. Серебряная нить потеплела, но не почернела.

— Поручение внесено в губернский реестр, — произнёс он.

Лебедев вырвал у него взглядом страницу, не решившись вырвать руками.

— Когда?

— Двадцать шестого мая.

Полковник умер двадцать восьмого. Письмо получил полковой нотариус, тот отправил нарочного в Петербург и копию мне в Псков. Нарочный, судя по всему, ехал быстрее.

— Исполнительный лист, — снова сказал я.

Рудин помедлил, затем протянул мне другую папку.

Я не торопился. Сначала проверил номер палаты, подписи, сумму. Пятьдесят две тысячи рублей с процентами и расходами. Затем дату вступления взыскания в силу.

Двадцать девятое мая.

Всё сходилось. Почти.

На последней странице стояла синяя печать выездной описи.

Двадцать седьмое мая.

За сутки до смерти Аркадия.

Я провёл пальцем по оттиску. Краска уже въелась в волокна. Не описка, сделанная сегодня.

— Господин Рудин, — сказал я, — вы двадцать седьмого числа уже знали, что двадцать девятого вам понадобится опись?

Чиновник взял лист. Лицо у него не изменилось, но зонт чуть наклонился, и вода потекла на форменный рукав.

— Печать могли поставить при подготовке документов.

— Конечно.

— Это техническая дата.

— Несомненно.

Лебедев сузил глаза.

— На что вы намекаете?

— Пока ни на что. Я задаю вопросы. Намёки начинаются, когда на вопросы не отвечают.

Вера смотрела уже не на меня, а на печать.

— Отец двадцать седьмого был жив, — сказала она. — И никакой описи не разрешал.

— Разрешения должника для взыскания не требуется, — быстро ответил Рудин.

— А смерть требуется? — спросил я.

Он поджал губы.

Во дворе опять зашевелились. Грузчики устали ждать, фургон перегораживал переулок, дождь усиливался. Людям всегда кажется, что бумажный спор их не касается. Обычно до первой подписи.

Рудин вернул мне поручение.

— До выяснения действия условного управления я обязан приостановить вывоз.

— Вы не можете! — Лебедев рванулся к нему. — Залоговое соглашение старше этого поручения.

— Но не старше статьи сто четырнадцатой, — сказал Рудин. — Управляющему предоставляется срок для принятия хозяйства и заявления возражений. Тридцать дней. Имущество останется под печатями, отчуждение запрещено.

— Дом за эти тридцать дней развалится.

— Значит, — я забрал бумаги, — у нас будет гонка.

Приказ остановиться понравился не всем.

Тем, кто носил мебель, было безразлично. Им платили за день. Помощник Рудина начал сверять уже вынесенное, чиновник велел вернуть вещи в парадную. Лебедев отошёл под арку и тихо разговаривал с двумя людьми в одинаковых серых кепках.

Я наблюдал за зеркалом.

Его так и не поставили. Грузчики держали раму на весу, ругались и ждали указаний. Серую ткань сорвало с верхнего угла. Под ней блеснуло старое стекло, тёмное по краям. По раме шли вырезанные медвежьи лапы, переплетённые ветвями.

Ничего особенно дорогого.

Только пространство вокруг него было неправильным.

Дар Меры никогда не показывал мне красивых цветных линий, как в дешёвых романах про великих магов. Я чувствовал нагрузку. Вес, которому не полагалось быть в этом месте. Перекос балки до того, как она начинала скрипеть. Натяжение оберега, когда один знак тянул сильнее остальных.

Сейчас двор слегка кренился к зеркалу.

Не камни и не стены. Само ощущение дома. Будто кто-то зацепил внутренности усадьбы железным крюком и медленно тащил наружу.

Я надел перчатку.

— Поставьте зеркало, — сказал Рудин.

— Куда? — спросил один из грузчиков.

— Обратно в дом.

Лебедев вышел из-под арки.

— Предмет уже внесён в опись и погружен в состав вывозимого имущества. Оставьте его в фургоне до отдельного распоряжения.

— Я приостановил вывоз, — холодно напомнил Рудин.

— Вывоз. Но не обеспечение сохранности. В доме отсутствует законная охрана.

— В доме присутствует управляющий, — сказал я.

Лебедев повернулся ко мне.

— На тридцать дней.

— Мне случилось принимать хозяйство и на меньшее время.

— Поэтому оно теперь, вероятно, принадлежит кому-то другому.

Неплохой удар. Я даже не сразу нашёл, чем ответить.

Он увидел это и улыбнулся по-настоящему.

— Зеркало в фургон, — приказал Лебедев.

Грузчики двинулись к воротам.

Вера шагнула им наперерез.

— Нет.

— Вера Аркадьевна, — устало произнёс Рудин, — не осложняйте.

— Герасим Фомич просил не отдавать его.

— Ваш привратник находится не в том состоянии, чтобы определять порядок взыскания.

— Это зеркало моей матери.

Лебедев развёл руками.

— Тогда тем более оно имеет рыночную ценность.

Вера побледнела. Не красиво и благородно — просто кровь ушла из лица. Пальцы стиснули ткань юбки.

Я посмотрел на ворота.

Левая створка стояла открытой к стене. Правая — под углом, зафиксированная железным крюком. Петли старые, массивные, нижнюю когда-то усилили серебряной накладкой. Накладка почернела по краям.

Перекус усиливался с каждым шагом грузчиков.

— Стойте, — сказал я.

Они не остановились.

— Зеркало на землю.

Передний грузчик оглянулся на Лебедева. Тот едва заметно кивнул.

Вот и ответ, кому здесь действительно платили.

Я двинулся к ним.

Человек в серой кепке оказался на пути.

— Не мешай работать, дед.

— Мне сегодня удивительно везёт на молодых людей без глазомера.

Он толкнул меня ладонью в грудь.

Нога отозвалась болью, но я удержался. Поймал его большой палец, вывернул кисть наружу и шагнул за плечо. Парень согнулся. Я не стал ломать — направил лбом в кирпичную стену.

Удар вышел глухим.

Второй полез под пальто.

— Руку вынешь пустой, — предупредил я.

Он всё-таки вынул. В руке блеснула короткая свинцовая дубинка.

— Зря.

Дубинка пошла сверху.

Я подставил не руку, а свёрнутый плащ на предплечье. Свинец врезался тяжело, до кости, однако потерял скорость. Второй рукой я ударил ребром ладони в бицепс, перехватил

локоть и потянул на себя.

Парень ожидал сопротивления. Я сопротивляться не стал. Он провалился вперёд. Мой лоб встретил его переносицу. Хрустнуло.

Нос у него оказался крепче, чем я надеялся, а моя голова — мягче, чем помнилось. Перед глазами на миг побелело. Я довёл движение, подсек колено и прижал парня лицом к мостовой.

— Лежать.

— Сука...

— Это не обращение, а должность. Не отвлекайся.

Первый уже отлип от стены. В руке у него появился нож. Вера что-то крикнула.

И тут запел металл.

Не звонко. Низко, на границе слуха. Так поёт перегруженная балка за секунду до того, как на людей падает крыша.

Я отпустил руку парня и обернулся.

Зеркало пересекло линию ворот.

Всё произошло сразу.

Серебряная накладка на нижней петле вспыхнула белым. Крюк, удерживавший правую створку, вылетел из скобы. Тяжёлая решётка пошла внутрь двора — не от ветра, не под собственным весом. Будто кто-то невидимый толкнул её обеими руками.

Передний грузчик успел отскочить.

Задний — нет.

Створка прижала его боком к каменному столбу. Он закричал. Зеркало накренилось, второй грузчик бросил ручку, рама ударила нижним углом по мостовой, но стекло не разбилось.

— Назад! — заорал Рудин. — Все назад!

Прекрасный приказ. Только опоздал.

Створка продолжала давить.

Грузчик упёрся ладонями в решётку. Между железом и камнем оставалось меньше четверти аршина. Лицо у него налилось тёмным, рот открывался без звука.

Я подхватил лежавшую у фургона вагу — толстый шест с железным наконечником — и сунул под нижнюю перекладину.

— Держи зеркало! — крикнул я.

Никто не пошевелился.

— Да держите же, мать вашу!

Двое рабочих наконец подхватили раму.

Я навалился на вагу. Железо скользнуло по камню. Створка дёрнулась, но не отошла ни на палец.

Нагрузка проходила не через петли.

Она шла из дома.

Я закрыл правый глаз. Потом левый. Не помогло. Дар не зависел от зрения, хотя так было легче отсеять лишнее.

Двор распался на давление и опору. Вес фургона уходил в четыре колеса. Каменный столб принимал створку. Вага гнулась у меня в руках. Зеркало тянуло назад, к парадным две-

рям, и невидимая связь между ним и домом была натянута, как канат на переправе.

Кто-то попытался не просто вынести вещь.

Кто-то вырвал из усадьбы часть опоры.

— Вера Аркадьевна! — позвал я.

Она стояла возле старика, прижав ладонь ко рту.

— Подойдите к зеркалу.

— Что?

— Быстро!

Она бросилась ко мне. Лебедев схватил её за плечо.

— Назад! Здесь опасно!

Вера развернулась и ударила его.

Не пощёчиной. Локтем в подбородок.

Полковник хотя бы этому её научил.

Лебедев отшатнулся. Вера подбежала к зеркалу.

— Что делать?

— Положите руку на раму.

— Зачем?

— Понятия не имею. Но оно вас знает.

Она посмотрела на меня так, будто собиралась сообщить очевидное: я сумасшедший. Железо снова застонало. Прижатый грузчик захрипел.

Вера сорвала перчатку и приложила ладонь к тёмному дереву.

— Верните его, — сказала она.

Рабочие попытались развернуться.

— Не вы. — Она закрыла глаза. — Я не вам.

По раме прошла дрожь. Не свет, не молния. Дерево под её рукой потеплело, и от зеркала потянуло табаком.

Точно таким курил Аркадий.

Связь стала яснее. Дом тянул зеркало к себе и одновременно давил воротами на каждого, кто стоял на пути. Слепо. Испуганно. Он не различал вора и грузчика.

— Скажите ему, что зеркало вернут, — приказал я.

— Кому?

— Дому.

Вера открыла глаза.

— Он не слышит слов.

— Тогда придумайте, что он слышит.

В её лице что-то изменилось. Не магический блеск и не внезапная мудрость. Просто страх уступил место злости.

— Хватит! — Она ударила ладонью по раме. — Это наш человек! Отпусти его!

Створка замерла.

На один удар сердца.

Этого хватило.

Я нашёл место, где сходились три нагрузки: нижняя петля, порог и зеркало. Там не было линии или метки. Там была ошибка — крохотный участок, принимавший слишком много.

Я нажал Даром.

Боль вошла под левую лопатку и мгновенно прострелила

руку до пальцев. Мир качнулся. Я перенёс давление с порога на столб, со столба — в створку, из створки — в вагу.

Дерево в ладонях затрещало.

— Тяните его! — прохрипел я.

Рудин первым схватил грузчика за ворот пальто. Его помощник — за пояс. Подбежали ещё двое.

Створка отошла на два пальца.

Мало.

Я усилил нажим.

Левая рука перестала существовать. Не заболела — исчезла. Осталось плечо, внутри которого кто-то медленно проворачивал раскалённый винт.

— Ещё!

Грузчика рванули. Он завопил, ткань пальто лопнула под мышкой, и человек вывалился на мостовую.

Я отпустил Дар.

Вага переломилась.

Створка ударила в столб. Камень содрогнулся, сверху посыпалась известковая крошка. Вера отшатнулась от зеркала. Рабочие едва удержали раму.

На несколько секунд двор затих.

Я стоял, упираясь правой рукой в колено, и ждал, пока земля перестанет ездить под ногами.

Кровь капнула на камень.

Я потрогал нос. Нос был цел. Значит, кровь шла изнутри.

— Матвей Сергеевич... — Вера оказалась рядом.

— Не трогайте левую руку.

— Вы ранены?

— Это старое. Просто сегодня решило поздороваться.

Она посмотрела на мою висящую плетью кисть.

— Старое обычно так не здоровается.

— У него плохое воспитание.

Рудин опустилсЯ возле освобождённого грузчика. Тот дышал, ругался и держался за рёбра. Хороший признак. Человек, способный подробно проклясть работодателя, обычно мог дожидаться врача.

— Послать за доктором! — приказал чиновник.

На этот раз люди побежали сразу.

Лебедев вытер кровь с разбитой губы. Удар Веры получился качественным.

— Вы все свидетели, — сказал он, поворачиваясь к Рудину. — Этот человек применил опасный Дар во время исполнения.

— Этот человек не дал вашим работникам раздавить человека, — ответил Рудин.

— Ворота закрылись после его вмешательства.

Я выпрямился. Медленно. ЛевоЙ ноги почти не чувствовал, левая рука постепенно возвращалась покалыванием, и это было хуже онемения.

— Ворота закрылись, когда вы вынесли зеркало за порог, — сказал я. — И вы знали, что старый привратник пытался вас остановить.

Лебедев глянул на Герасима.

Слишком быстро.

— Суеверия прислуги не входят в предмет взыскания.

— Зато входят в показания.

— О чём? О взбесившейся решётке?

— О том, что вам было известно об опасности.

Он усмехнулся, но уже без прежнего удовольствия.

— Вы намерены судиться с Северным обществом, Корнев?

— Сначала намерен занести зеркало обратно.

— Оно остаётся описанным имуществом.

— Пусть остаётся. В доме.

Рудин поднялся. Форменные брюки были в грязи, зонт валялся возле фургона. Без него чиновник выглядел моложе и заметно злее.

— Господин Лебедев, — произнёс он, — до окончания срока условного управления ни один предмет не покинет усадьбу. Всё уже вынесенное вернуть в парадную. Ворота опечатать открытыми не представляется возможным, поэтому будет составлена отдельная запись об аварийном состоянии.

— Общество заявит протест.

— Заявляйте.

— Вы пожалеете об этом решении.

— Вероятно. Но сейчас я больше жалею, что не взял второй мундир.

Я начинал испытывать к Рудину осторожную симпатию.

Лебедев подошёл ко мне вплотную. Вера шагнула между нами, но я мягко отвёл её правой рукой.

— Тридцать дней, — тихо сказал Лебедев. — Вы понимаете, что это значит?

— Примерно месяц.

— Это значит, что через тридцать дней мы вернёмся. Уже без возможности спрятаться за покойником и нотариальной ниткой.

— Тогда не опаздывайте. Я не люблю, когда срывают сроки.

Его взгляд скользнул по моей повисшей руке.

— Вы не дотянете.

— Возможно.

Он явно ждал другого ответа. Угрозы, обещания, военной бравады. Людей вроде Лебедева уверенность не пугала — они торговали ею каждый день. Неопределённость нравилась им куда меньше.

Я наклонился ближе.

— Но вы почему-то решили, что эти тридцать дней даны только мне.

На этот раз улыбка у него исчезла.

Он отвернулся, коротко свистнул людям в серых кепках и пошёл к воротам. Первый держался за рассечённый лоб, второй прижимал платок к носу. Проходя мимо Веры, Лебедев задержался.

— Примите совет, Вера Аркадьевна. Продайте дом добровольно. Тогда у вас останется имя.

— Если его можно оставить только с вашего разрешения,
— сказала она, — значит, это не моё имя.

Лебедев чуть склонил голову и вышел.

Я посмотрел на Веру.

— Неплохо.

— Отец говорил лучше.

— Ваш отец умел репетировать речи заранее.

— Неправда.

— Вы просто не видели, сколько бумаги он переводил.

Она хотела улыбнуться. Не позволила себе.

Рабочие развернули зеркало. Когда оно пересекло порог в обратную сторону, напряжение во дворе исчезло. Не постепенно — сразу. Стало слышно дождь, тяжёлое дыхание людей, скрип колёс.

Правая створка ворот отлипла от столба и медленно вернулась на место.

Сама.

Рудин это тоже заметил.

— Я внесу в акт, что объект обладает незаявленной очаговой активностью.

— Вносите.

— Палата надзора может признать дом опасным.

— Может.

— Вы всегда так спокойно реагируете на плохие новости?

— Нет. Иногда сажусь.

Я сел прямо на ступеньку крыльца.

Ноги решили, что на сегодня с них достаточно.

Доктор прибыл через четверть часа — запыхавшийся молодой человек с чёрным саквояжем и выражением лица, будто его вызвали исключительно затем, чтобы испортить обед.

Прижато́му грузчику повезло: два треснувших ребра, сильный ушиб, но внутреннего кровотечения доктор не нашёл. Герасим отделался сотрясением и вывихом плеча. Его перенесли в комнату возле кухни.

Когда старик очнулся во второй раз, я сидел рядом и придерживал кружку с водой.

— Мелкими глотками.

— Вы кто? — спросил он.

— Сегодня этот вопрос особенно популярен.

Герасим прищурился. Один глаз заплыл, второй оставался цепким.

— Корнев?

— Да.

— Полковник говорил.

— Что именно?

— Что вы скверный человек.

— Похоже на него.

— Но полезный.

— А это уже лесть.

Старик сделал глоток и поморщился.

— Зеркало?

— В доме.

Плечи у него опустились. Будто до этого он удерживал ими потолок.

— Почему оно так важно?

Герасим посмотрел на дверь. Вера стояла там, скрестив руки.

— Это матушкино зеркало, — сказала она.

— Ваша матушка однажды закрыла им западную лестницу, — прошептал старик. — После того как оттуда вышло не то.

— Не то — это что? — спросил я.

— Не знаю. Я дверь держал.

— Очень предусмотрительно.

— Матушка велела никогда не выносить зеркало за ворота. Я господам сказал. А они...

Он замолчал.

— Вы поскользнулись, — подсказал я.

Герасим посмотрел на свои разбитые костяшки.

— Дважды.

— Бывает.

Вера подошла к кровати и поправила сбившееся одеяло. Движение получилось привычным, хотя она явно старалась

сделать вид, будто просто убрала складку.

— Отдыхайте, Герасим Фомич. Агафья Петровна принесёт бульон.

— Не из старой курицы?

— Из той, которая вас не уважала.

— Тогда съем.

Мы вышли в коридор.

В доме пахло сыростью, лекарством и пылью. С пустых стен на нас смотрели светлые прямоугольники — картины сняли, но вернуть ещё не успели. У лестницы лежал свёрнутый ковёр. На перилах висела судебная бирка с номером.

Вера шла впереди. Спина ровная, подбородок поднят. Только руки выдавали: пальцы то сжимались, то разжимались.

— Я не просила вас приезжать, — сказала она.

— Знаю.

— Отец не говорил, что назначил управляющего.

— Мне тоже.

Она остановилась.

— Как это?

— Я получил документы три недели назад. Письмо пришло из столицы в Псков. К тому времени ваш отец уже умер.

— Почему вы не были на похоронах?

Вопрос прозвучал спокойно. Слишком спокойно.

Я посмотрел на бирку, привязанную к перилам.

— Не успел.

— От Пскова поезд идёт меньше суток.

— Я был не в Пскове.

— Где?

— В месте, откуда пришлось сначала ехать до Пскова.

— Очень содержательно.

— Я старался.

Она резко развернулась.

— Вы думаете, если пару раз пошутите, я перестану спрашивать?

Серые глаза у неё были отцовские. Аркадий так же смотрел, когда уже знал ответ, но хотел услышать, насколько плохо ты соврёшь.

— Нет. Я думаю, если скажу, что был на границе, где хоронил своего брата, вам придётся либо извиняться, либо делать вид, что вам всё равно. Ни то ни другое сейчас не поможет дому.

Вера замерла.

Лицо у неё дрогнуло, но она быстро взяла себя в руки.

— Я не знала.

— Для этого обычно и задают вопросы.

— Простите.

— Не надо.

— Вы только что сказали...

— Я сказал, что вам придётся извиняться. Не сказал, что мне это нужно.

Она отвернулась к окну. За грязным стеклом рабочие за-

носили мебель обратно. Ножка сломанного стула торчала из-под брезента.

— Вы служили с отцом?

— Двадцать лет с перерывами.

— Он называл вас своим квартирмейстером.

— Он делал это, когда хотел меня разозлить. Я был полковым интендантом.

— Разница большая?

— Примерно как между полковником и человеком, который объясняет полковнику, почему его приказ невозможно выполнить.

— И что делал полковник?

— Приказывал выполнить невозможное к утру.

На этот раз она всё-таки улыбнулась. Улыбка появилась и сразу исчезла.

— Вы сможете спасти дом?

Хороший вопрос.

Я мог соврать. Она ждала именно этого — спокойного взрослого в старом сером сюртуке, который пообещает разобраться. После смерти отца вокруг неё наверняка было достаточно людей с такими обещаниями.

— Не знаю.

— Тогда зачем приехали?

— Чтобы выяснить.

— За тридцать дней?

— Двадцать девять с половиной. Рудин начал считать с

полудня.

Она сжала губы.

— У нас долг.

— Видел.

— Большой.

— Числа редко становятся меньше, если называть их большими вместо точных.

— Пятьдесят две тысячи.

Я посмотрел на неё.

— Хорошо. Уже лучше.

— В кассе почти ничего.

— Сколько?

— Не знаю.

— А вот это хуже.

— Лев Борисович ведёт счета.

— Кто такой Лев Борисович?

— Поверенный отца.

— Где он?

— Утром уехал в долговую палату.

— До начала описи?

Вера нахмурилась.

— Да.

Я запомнил.

— Кто сейчас в доме?

— Агафья Петровна, Герасим Фомич, горничная Дуня, истопник, кухонная девушка и Павел — он присматривает

за садом. Остальные ушли.

— Жалованье давно не платили?

Она промолчала.

— Вера Аркадьевна.

— Два месяца.

— Почему эти остались?

— Потому что это их дом.

— Нет.

Она вскинула подбородок.

— Что — нет?

— Это ваш дом. Они здесь работают. Если люди два месяца работают без денег, у них есть причина. Верность, страх, надежда получить долг, отсутствие другого места — неважно. Мне нужны настоящие причины, а не красивые.

— Вы говорите о них как о строках в ведомости.

— Строки не едят. Люди — да. И если я не узнаю, чем кормить шестерых человек завтра, послезавтра у вашего дома станет на шесть верных слуг меньше.

Она хотела возразить. Не стала.

— Что вам нужно?

— Ключи. Счётные книги. Список имущества до описи. Все долговые бумаги. Комната, где можно поставить сундук и не провалиться этажом ниже. И чай.

— Чай?

— Последний пункт обсуждается.

— А если я откажусь?

— Тогда я сяду на этот ковёр и буду ждать, пока вы переживаете. Ходить мне сейчас всё равно неприятно.

Её взгляд опустился к моей левой руке.

Пальцы уже двигались, но плохо. Я спрятал кисть в карман.

— Это из-за ворот?

— Нет, из-за погоды.

— Вы всегда врётё так неубедительно?

— Только молодым хозяйкам, которые ещё не дали мне чай.

— Я вам не хозяйка.

— Пока не уверен. Но дом вас послушал.

Вера обернулась к лестнице, словно ожидала увидеть там кого-то ещё.

— Он не послушал. Он испугался.

— Есть разница?

— Большая.

— Объясните.

Она провела пальцами по отцовской булавке.

— Не сейчас.

— Хорошо.

— Вы не будете требовать?

— Буду. После чая.

Из глубины дома донёсся грохот. Затем женский голос сообщил:

— Если эти дармоеды ещё раз поставят диван поперёк

прохода, я им его на спину пришью!

Вера закрыла глаза.

— Это Агафья Петровна.

— Она мне уже нравится.

— Подождите знакомиться.

— Вы правы. Спешка портит отношения.

Мы дошли до конца коридора. Вера остановилась перед двустворчатой дверью. На одной половине осталась табличка: «**Управляющий**». На другой — светлый след от сорванной судебной печати.

Она сняла с пояса связку ключей. Выбрала длинный железный.

— Этот кабинет пустовал после отъезда прежнего управляющего.

— Когда он уехал?

— Два месяца назад.

— Перед тем, как перестали платить жалованье?

— Почти одновременно.

Ещё одно совпадение. День обещал быть богатым.

Вера вставила ключ. Замок не повернулся.

Она попробовала сильнее.

— Дайте.

— Я умею открывать двери.

— Не сомневаюсь. Но сейчас дверь с вами не согласна.

Вера отступила.

Я коснулся дерева правой ладонью. Никакой опасной на-

грузки. Только старый перекося коробки и набухшая от сырости створка.

Приподнял дверь за ручку, одновременно повернул ключ. Замок щёлкнул.

— Магия? — спросила она.

— Плотник.

— Вы плотник?

— Нет. Поэтому дверь всё ещё скрипит.

Кабинет действительно оказался почти пуст. Письменный стол у окна, два стула, книжный шкаф без книг. На полу пыль, у стены свернули выцветший ковёр. Предыдущий управляющий забрал даже чернильницу.

Мой сундук сюда ещё не принесли.

Зато на столе лежал закрытый конверт.

Я узнал почерк.

Вера тоже.

— Отец?

На конверте стояло: «**Матвею. Лично**».

— Похоже.

Она сделала полшага внутрь.

— Вы читаете?

— Да.

— При мне?

Я взял конверт. Бумага была сухой, хотя в кабинете тянуло сыростью. Аркадий приготовил письмо заранее. Возможно, передал слугам. Возможно, кабинет сам решил, что пора его

показать.

После сегодняшних ворот оба варианта следовало считать одинаково неприятными.

— Это личное письмо.

— Обо мне?

— Скорее всего.

— Тогда я имею право знать.

— Если там будет то, что касается вас, узнаете.

— А если вы решите, что не касается?

— Придётся вам прожить несколько часов, не контролируя всё на свете.

Она резко вдохнула.

Я сразу понял, что сказал лишнее.

Дом, отец, брат, деньги — за последние три года у неё последовательно отняли почти всё, что она могла контролировать. И вот пришёл ещё один взрослый мужчина с бумагой и сообщил, что так будет удобнее.

— Вера Аркадьевна...

— Чай будет через четверть часа, — перебила она. — Ключи пришлю с Агафьей Петровной.

— Благодарю.

— Не за что.

Она вышла и закрыла дверь.

Я остался один.

— Отлично начал, Корнев, — сказал я пустому кабинету.

Дом ответил тихим стуком где-то над потолком.

— Тебя не спрашивали.

Я сел за стол и только тогда позволил себе снять левую перчатку.

Кисть дрожала. Большой палец чувствовал прикосновение, указательный — через раз, мизинец не чувствовал ничего. По предплечью бежали мелкие судороги.

Врач после Восточной кампании говорил: ещё две серьёзные перегрузки — и рука может не вернуться.

С тех пор перегрузок случилось девять.

Врачи вообще любят круглые числа.

Я прижал ладонь к холодной столешнице и вскрыл конверт ножом.

Внутри был один лист.

«Матвей.

Если ты читаешь это в моём кабинете, значит, я не успел сделать то, что должен, а ты по какой-то причине согласился разбираться в оставленном мной бардаке. За второе заранее прошу прощения. За первое — нет. Я знал, что делал.

Не спасай фамилию. Фамилия переживёт позор или не заслуживает спасения.

Позаботься о Вере и людях под этой крышей. Роман, если он жив, может вернуться не один.

Дом продают не из-за долга.

Не отдавай зеркало.

А. Б.»

Я перечитал письмо дважды.

Потом положил рядом поручение, долговой лист и копию описи с печатью, поставленной за день до смерти Аркадия.

На столе получился вполне приличный набор причин немедленно уехать.

Снаружи рабочие тащили обратно шкаф. Кто-то ударил углом о косяк. Агафья Петровна отреагировала так, что даже через две двери стало ясно: шить диван на спину она собиралась не в переносном смысле.

Я посмотрел на стену напротив.

Сначала мне показалось, что от усталости двоится в глазах.

По старой штукатурке ползла тонкая чёрная линия. Пахло табаком. Линия раздваивалась, изгибалась, оставляя буквы. Не чернила и не копоть из печи — стена будто выдавливала из себя многолетнюю сажу.

Я не вставал.

Левая рука всё ещё дрожала, нога ныла, в кармане лежал билет, по которому вечером можно было уехать из столицы.

Надпись закончилась.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРИНЯТ.

Через мгновение ниже появилось ещё одно слово.

ПОКА.

Я прочитал.

Подождал, не добавит ли дом условий мелким почерком. — Щедро, — сказал я.

Где-то в глубине усадьбы один раз стукнула дверь.

Глава 2. Сорок семь рублей

Дверь в глубине дома стукнула один раз и больше не подавала голоса. На стене напротив меня чернело: **УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРИНЯТ. ПОКА.**

Я сидел, прижимая левую ладонь к столешнице, и размышлял, насколько прилично требовать у нанимателя объяснений, если наниматель состоит преимущественно из штукатурки, старого дерева и дурного характера. В армии подобные случаи решались просто: кто подписал приказ, тот и объясняет. Дом ничего не подписывал. Дом поставил меня перед фактом, причём второе слово в его сообщении нравилось мне гораздо меньше первого.

Снаружи снова заорала женщина, пообещавшая засунуть кому-то диван в место, совершенно для этого не предназначенное. За угрозой последовал грохот, обиженный мужской голос сообщил, что диван не проходит, и женщина велела оторвать ему ножки.

— Дивану, болван! — уточнила она.

Я убрал письмо Аркадия во внутренний карман и натянул перчатку. Пальцы слушались через один, зато перчатка скрывала дрожь. Для первого дня на новой должности этого было достаточно.

Дверь открылась без стука. На пороге стояла женщина лет шестидесяти в чёрном платье и безукоризненно белом пе-

реднике. В одной руке она держала связку ключей, в другой — поднос с чайником, чашкой, хлебом и толстым куском холодной буженины. Сильные руки, седые волосы под наколкой, лицо человека, который всю жизнь выслушивал просьбы, а исполнял только разумные. Она оглядела меня, раскрытый конверт, перчатку и надпись на стене. На надписи задержалась ненадолго.

— Значит, вы тот самый Корнев.

— Смотря что вам обо мне рассказывали.

— Покойный барин говорил, что вы способны за один вечер обнаружить пропажу полкового обоза, повара и трёх бочек спирта.

— Обоз стоял не на той станции, повар женился, а спирт был утрачен безвозвратно.

Женщина поставила поднос на стол. Чай плеснул в носике, но ни капли не пролилось.

— Барин говорил, что вы его нашли.

— Это была пустая бочка. Клевета.

Уголок её рта дрогнул и сразу вернулся на место.

— Агафья Петровна Невзорова. В этом доме я экономка, повар и последняя инстанция для людей, которые считают, что мокрые сапоги высыхают сами. Ключи велено передать вам. Чай тоже. Хотя насчёт чая Вера Аркадьевна распорядилась так, будто он у нас казённый.

Она положила связку рядом с поручением. Ключей было больше тридцати: от маленьких, похожих на игрушечные, до

тяжёлых бородчатых, которыми можно было отбиваться от взыскателей не хуже свинцовой дубинки. На одном висела новая жестяная бирка «УПР.», на другом выцветшая костяная пластинка с надписью «ЗАП. БАШ.».

— От западной башни тоже? — спросил я.

Агафья Петровна посмотрела на костяную бирку, потом на стену. За те две секунды, что она молчала, выражение её лица не изменилось. Только поднос тихо звякнул под пальцами.

— От двери в башенку. Подходит ли к замку, не знаю. Аркадий Михайлович велел туда не ходить.

— Когда?

— Зимой.

— По какой причине?

— По той, что он был хозяин, а я не любительница проверять, насколько хозяин уверен в своих распоряжениях.

Хороший ответ. Особенно если учесть, что хозяйских распоряжений она, судя по всему, не боялась с рождения.

Я налил чай. Крышка чайника была стянута медной проволокой, на чашке темнела трещина, аккуратно залитая оловом. Буженина оказалась настоящей, хлеб — вчерашним, горчица — такой, что мёртвый Аркадий мог бы ненадолго вернуться и объяснить, какого чёрта оставил мне своё хозяйство.

— Серебро продали вы? — спросил я, отрезая хлеб.

Агафья Петровна не вздрогнула. Она вообще не выгляде-

ла женщиной, которая тратит силы на движения, не приносящие пользы.

— Какое серебро?

— То, от которого на подносе остались светлые круги. Чайная пара стояла здесь много лет, её убрали недавно. Эта чашка из людской, блюдце из гостевых, ложки нет вообще. Значит, часть сервиза продали не судебные исполнители и не вчера.

— Ложку вы бы всё равно погнули.

— Поэтому признались?

— Нет. Поэтому не дала.

Она поправила край передника, глядя мне прямо в глаза.

— Барыня заболела весной. Потом понадобилось хоронить. Потом Аркадий Михайлович... тоже. Жалованье людям не платили, а лавочники фамильными речами не кормятся. Я продала несколько вещей, которые могла вынести без описи. Если хотите уволить, увольняйте после чая. Еда пропадать не должна.

— Сколько получили?

— Сто восемьдесят четыре рубля.

— Куда ушли?

— Похороны, аптекарь, два месяца у мясника и половина жалованья кухонной девке. У неё мать слегла.

— Записи есть?

— В синей тетради, на кухне. Я не воровка.

— Воровки тоже ведут записи. Хорошие.

Агафья Петровна прищурилась.

— Хотите сказать, что не верите?

— Хочу сказать, что проверю. Если всё сходится, серебро вы спасли от описи и превратили в еду. Если не сходится — украли. Между этими вещами помещается одна тетрадь.

Она помолчала, потом неожиданно кивнула.

— Аркадий Михайлович говорил, с вами тяжело.

— Со мной понятно. Это часто путают.

В коридоре слышались быстрые шаги. Вера вошла без стука, как и экономка, но на этом сходство заканчивалось. Косу она успела переплести, промокшее платье сменила на сухое, отцовская булавка снова была приколота у горла. Лицо держала спокойно. Только взгляд сразу нашёл письмо в моём кармане, словно бумага могла просвечивать сквозь сюртук.

— Вы прочитали?

— Да.

— И?

— Ваш отец просил не отдавать зеркало.

— Это я видела.

— Он ещё просил позаботиться о вас и людях.

— Я не нуждаюсь...

— Все нуждаются. Отличаются только способы это скрыть.

Вера сжала губы. Агафья Петровна подняла чайник и налила ей чашку, хотя та не просила. Девушка приняла её так

же машинально, как накануне, должно быть, принимала отцовскую руку, поданную на ступенях.

— Что вы собираетесь делать? — спросила Вера.

— Осматривать дом.

— Сейчас? На улице уже темнеет.

— Через двадцать девять с половиной дней темнеть будет тоже. Вряд ли кредитное общество сочтёт это уважительной причиной.

— Вы едва стояли полчаса назад.

— Теперь сижу. Значит, положение улучшилось.

Она посмотрела на мою левую руку. Перчатка дрожала меньше, чем пальцы под ней, но Вера заметила. Ничего не сказала — и за это я был ей благодарнее, чем за возможные слова.

Я допил чай, убрал в карман ломоть хлеба и поднялся. Нога отозвалась тупой болью в бедре, рука — иголками до локтя. Агафья Петровна взяла со стола связку прежде, чем я успел к ней потянуться.

— Ключи пока понесу я, — заявила она. — Если новый управляющий уронит их в первую же минуту, дом может счесть это знаком.

— Дом уже высказался.

Она снова посмотрела на надпись. Чёрные буквы бледнели, впитываясь в штукатурку, однако последнее слово держалось упрямо.

— Он всегда любил оставить за собой право передумать,

— сказала экономка и вышла первой.

Вера задержалась.

— Вы видели такое раньше?

— Разговорчивые стены? Однажды на Востоке крепостной вал три дня стонал голосом сапёрного капитана. Потом выяснилось, что капитан жив, просто его завалило внутри контргалереи.

— И вы его нашли?

— Нет. Нашёл сапёр. Я нашёл людей, которые ещё утром списали капитана из довольствия. Это было проще.

— Вы на всё отвечаете армией?

— Пока дом не выдаст мне другого опыта.

Мы догнали Агафью Петровну у лестницы. На площадке двое рабочих ставили на место шкаф, вынесенный взыскателями. Один прижимал к рассечённому лбу грязную тряпку. Увидев меня, он отвернулся. Я не стал напоминать, что лбом он познакомился с кирпичной стеной по собственной инициативе. Человеку и без того предстояло объяснять жене, почему честная опись имущества потребовала ножа.

Агафья провела нас не по парадным комнатам, а сразу в восточное крыло. Правильное решение. Парадные залы показывают, каким дом хотел казаться гостям; кухни, чердаки и подвалы — каким он был на самом деле.

В первой комнате потолок потемнел от воды. Под течью стояли три таза, в каждом плавала известковая крошка. Ковёр сняли, мебель сдвинули к внутренней стене, электриче-

ская лампа под плафоном не горела. Когда Агафья повернула выключатель, внутри стены что-то сухо треснуло и запахло палёной тканью.

— Больше не трогайте, — сказал я.

— Я и не трогаю, — ответила она. — Это Вера Аркадьевна каждый вечер проверяет, не одумался ли провод.

— Провода редко испытывают раскаяние.

Вера поставила чашку на подоконник.

— Электрик запросил сорок рублей.

— За эту комнату?

— За восточную половину этажа.

Я провёл правой ладонью по стене возле выключателя. Дар не открывал мне медных жил под штукатуркой, но перекош ощущался даже без него: линия питания тянула больше, чем получала, и где-то дальше по коридору нагрузка срывалась в пустоту. Проверять точнее я не стал. После ворот ещё одно применение могло превратить ревизию в осмотр управляющего доктором.

— Электричество не включать до мастера. Сколько комнат на этой линии?

— Семь, — сказала Вера.

— Девять, — поправила Агафья. — Ещё малая гладильная и бывшая детская.

Вера бросила на неё взгляд.

— Детская закрыта.

— Закрытая комната не перестаёт гореть, если проводка

решила иначе.

Я достал записную книжку. Карандаш пришлось держать правой рукой непривычно высоко: левую нельзя было использовать даже как опору.

— Девять комнат. Проводка — не меньше сорока, кровля над крылом?

— Кровельщик говорил триста, — ответила Вера.

— Кровельщик говорил двести двадцать, — возразила экономка. — Триста он назвал, когда увидел герб над воротами.

— Значит, позовём его через кухню.

Агафья Петровна одобрительно хмыкнула. Вера подошла к одному из тазов и носком сдвинула его под редкую каплю.

— Отец собирался чинить крышу весной.

— Весна уже здесь, — сказал я.

— Он умер три недели назад.

Капля упала в таз, и от этого тихого звука моя фраза показалась ещё глупее. Я зачеркнул в книжке слово «срочно», написал его снова и не стал извиняться. Извинения хорошо лечат обиду, но воду с потолка не отводят.

Дальше были комнаты, из которых вынесли почти всё ценное, и комнаты, в которых ценного никогда не было. За каждой дверью Агафья называла не прежнего жильца, а поломку: здесь не закрывается окно, там под паркетом завёлся стеклянный мох, в голубой гостиной по ночам скребётся пустая печь, а в комнате покойной хозяйки нельзя двигать туал-

летний столик, потому что после этого двери начинают открываться не в ту сторону. Вера несколько раз пыталась добавить историю — кто выбирал обои, на каком кресле сидел Роман, где мать принимала врача, — но воспоминания неизменно упирались в стоимость ремонта. Я записывал обе части. Для сметы требовалась вторая. Чтобы понять дом, вероятно, пригодится первая.

У опечатанной парадной гостиной я проверил сургуч. Печать была сегодняшняя, номер совпадал с описью. За дверью оставались картины, рояль, бронзовые часы и половина мебели, которую не успели вынести. Зеркало вернули туда же, приставив к внутренней стене и накрыв серой тканью. Даже через дверь я чувствовал слабое напряжение, будто комната стояла не на паркете, а на палубе при боковой качке.

— Оно всегда там висело? — спросил я.

Вера покачала головой.

— До маминой смерти — на площадке западной лестницы. Потом отец приказал перенести в гостиную.

— После того, что вышло из башни?

Агафья резко повернула голову.

— Герасим рассказал, — пояснил я.

— Герасим Фомич после удара мог рассказать, что государь живёт у него под кроватью.

— Нет, — сказала Вера. — Государь там не поместится.

Экономка одарила её долгим взглядом. Вера спокойно подняла чашку. Впервые я увидел между ними не хозяйку и

прислугу, а двух людей, много лет споривших одними и теми же приёмами.

— Зеркало перенесли за два месяца до смерти мамы, — продолжила Вера. — Она велела. Отец потом хотел вернуть его на площадку, но не вернул.

— Почему?

— Не знаю. Он перестал говорить о башне.

— Совсем?

Она обхватила чашку обеими ладонями, грея пальцы.

— Он боялся её.

Агафья Петровна звякнула ключами.

— Ваш отец ничего не боялся.

— Поэтому он каждую ночь проверял замок? Поэтому попросил Герасима забить дверь, а потом велел вытащить гвозди, потому что «дереву вредно»? — Вера говорила всё быстрее. — Он не поднимался туда с января. Если кто-нибудь спрашивал, сердился. Если никто не спрашивал, сидел напротив лестницы и слушал. Я видела.

— Почему раньше не сказали?

Она вскинула на меня глаза.

— Раньше — это когда? Полчаса назад, пока вас знакомили с домом ворота? Или на похоронах, человеку из долгового общества?

— Отцу.

Чашка дрогнула. Чай плеснул на пальцы, но Вера не выпустила её.

— Он знал, что я видела.

Этого было достаточно. Я не стал спрашивать, о чём ещё она промолчала. В восемнадцать лет люди думают, что взрослые вопросы требуют немедленных ответов; в сорок два начинаешь ценить ответы, которые собеседник пока способен вынести.

Мы спустились в кухню. Здесь дом ещё жил. Печь дышала жаром, на плите булькал бульон для Герасима, под потолком сушились травы, а возле стола худенькая девушка в закатанном переднике ошипывала курицу с таким выражением, будто сводила старые счёты. Это, очевидно, была та самая курица, которая не уважала привратника. Девушка увидела Веру, вскочила, задела локтем миску и успела поймать её у самого пола.

— Поля, — сказала Агафья Петровна, — если разобьёшь последнюю большую миску, будешь месить тесто в шляпе.

— В чьей?

— Выберем по размеру головы.

Поля покосилась на меня. Лет семнадцать, веснушки, светлая прядь выбилась из-под косынки. Руки в мелких ожогах, на правом запястье красная нитка с оловянной бусиной — дешёвый кухонный оберег. Бусина почернела и не работала.

— Это новый управляющий, — представила Вера.

— Надолго? — спросила Поля прежде, чем экономка успела её остановить.

— До первого разумного повода уйти, — ответил я.

— Тогда недолго.

Агафья Петровна замахнулась полотенцем. Поля увернулась и скрылась в кладовой, прихватив курицу. Из-за двери донеслось:

— Я не грубила! Я предупредила!

— Кухонная девушка, — пояснила Вера.

— Догадался.

Кладовая выглядела лучше большинства комнат, но только потому, что пустота в ней была разложена по полкам. Мука — на четыре дня, крупа — на неделю, сушёных грибов много, картофель начал прорастать, солонины почти не осталось. В углу стояли банки с вареньем, на каждой аккуратной рукой было выведено «не трогать». Агафья Петровна сообщила, что это запас на случай болезни, осады или гостей, причём по её тону гости представляли наибольшую опасность.

— Шесть человек и Вера Аркадьевна, — подсчитал я. — Герасиму нужна мягкая еда. Рабочие сегодня обедали?

— Не наши рабочие, — сказала Вера.

— Желудок редко интересуется принадлежностью.

— Я дала им хлеб и щи, — призналась Агафья. — Тем, кто мебель обратно заносил. Не тем, что с ножами.

— Запишите расход.

— Два карава и полведра щей?

— Именно.

— Вам заняться нечем?

— Пока нет. Поэтому и записываю.

Она вынесла из шкафа синюю тетрадь и шлёпнула на стол. Расходы от продажи серебра были записаны плотно, без украшений: рубль, дата, кому и за что. Похороны, доктор, аптекарь, уголь, мука, мясник, жалованье Поле. В конце оставалось шесть рублей тридцать две копейки, затем шесть рублей ушли стекольщику, тридцать две копейки — на свечи. Я проверил суммы дважды. Сходилось.

— Серебро вы спасли, — сказал я, возвращая тетрадь.

— Оно было моей бабушки, — тихо произнесла Вера.

Агафья Петровна выпрямилась.

— Вашей прабабушки. И если бы ваша прабабушка предпочла серебряную ложку нормальным похоронам собственной внучки, я бы продала ложку ещё охотнее.

Вера побледнела, но не отвернулась.

— Я не сказала, что вы поступили неправильно.

— Вы подумали достаточно громко.

Я положил карандаш на тетрадь.

— Обсудите это после того, как узнаем, что ещё принадлежало прабабушке и где теперь находится. Сейчас уголь.

Подвал начинался за кухней. Ступени были узкими, кирпич влажным, воздух пах золой, землёй и ржавой водой. Истопник Степан Григорьевич встретил нас внизу с фонарём. Невысокий, сутулый, с обожжёнными усами и кожаной рукавицей на правой руке, он не удивился ни новому управля-

ющему, ни ревизии. Показал две печи, котёл, водяные трубы и угольный заком, на дне которого лежал чёрный слой толщиной с ладонь.

— На шесть дней, если топить кухню и половину жилых, — сказал он. — На четыре, если снова ударит холодом. На восемь, если не топить кабинет.

— Кабинет не топить, — решил я.

Вера нахмурилась.

— Вы там спите.

— Поэтому решение далось особенно легко.

— Ночью обещали заморозок.

— Тогда положу рядом расписку о долге. Бумага хорошо горит.

Степан Григорьевич не улыбнулся. Он смотрел на меня с осторожным недоверием человека, который уже видел нескольких господ, способных красиво распорядиться последним углём, а потом уехать в тёплый дом.

— Поставщик даст ещё? — спросил я.

— За деньги.

— Это обычно.

— За прежним хозяином двадцать семь рублей. Мне велено было заказывать только через Льва Борисовича. В последний раз он сказал, что счёт не предусмотрен.

— Уголь тоже?

Истопник провёл рукавицей по борту котла.

— Уголь сказал, что ему всё равно.

Я записал долг. В стене за котлом тянулась медная полоса старого огневого знака. В двух местах её вырвали вместе с креплением, третье потемнело от перегрева. Обычная защита должна была отводить искры обратно к топке. Сейчас она, скорее, собирала их в кладке.

— Кто снимал медь?

— Не знаю, — ответил Степан слишком быстро.

Агафья Петровна шумно вдохнула.

— Ночью, значит, сама ушла. Медь нынче вольная.

Истопник опустил фонарь.

— Я взял. В феврале. Продал два куска, заплатил за уголь.

— Почему не сказали? — спросила Вера.

— Кому? — Он поднял голову. — Аркадий Михайлович уже третий день из кабинета не выходил. Лев Борисович велел не беспокоить. А вы тогда с похорон матушкиных не вставали. Я снял наружные пластины, внутренний контур оставил.

— И превратили котельную в ловушку, — сказал я.

Он сжал губы.

— Иначе она бы замёрзла в феврале.

Вера посмотрела на обожжённые крепления, потом на истопника. Я ожидал гнева — он был бы понятнее. Она лишь спросила:

— Сколько угля купили?

— На три недели.

— Запись есть?

— У лавочника.

— Завтра принесёте.

Степан кивнул. Вера повернулась ко мне, словно ждала приговора.

— Пока мы нашли двух людей, которые разбирали дом, чтобы дом не умер, — сказал я. — Если уволим обоих, разбирать станет некому. Огневой знак заглушить до ремонта. Котёл осматривать утром и вечером. Без исключений.

— Я и так...

— Теперь будете расписываться.

Ему это не понравилось. Значит, мера была полезной.

Из подвала мы вышли во двор. Дождь ослаб, но камни блестели, правая створка ворот стояла закрытой и невинной, будто не пыталась недавно раздавить человека. Павел, приглядываясь за садом, собирал с дорожки обломанные ветви. Ему было около двадцати, хотя из-за роста и слишком коротких рукавов казался младше. На щеке — свежая царапина, в руках — хорошая пила с треснувшей рукоятью.

— У вас сад идёт в дом или дом в сад? — спросил я.

Павел подумал.

— По весне больше сад в дом. Осенью наоборот.

— Бродячие тени?

— Три. Одна под боярышником, две в оранжерее. Если не шуметь, не лезут. Собак не любят.

— Собака есть?

— Была. Ушла.

— Разумное животное.

Он показал заросшую дорожку к восточному флигелю. Окна мастерской закрывали деревянные щиты, на двери висели две печати: судебная и старая ведомственная, с эмблемой Палаты очагового надзора. Под свежим сургучом проступал след ещё одной печати, сорванной неаккуратно.

— Кто работал здесь? — спросил я.

— Раньше мастер Берг, — ответила Вера. — Он обслуживал наши знаки и брал заказы с улицы. Отец распустил мастерскую после несчастного случая.

— Какого?

— Разбилось защитное стекло. Один ученик обжёг руки. Агафья Петровна кашлянула.

— Оба ученика, — поправила Вера. — Один сильно.

— Когда?

— Полтора года назад.

Полтора года. Как раз тогда Аркадий начал увольнять людей и закладывать то, что ещё вчера считал неприкосновенным. Совпадений за день накопилось достаточно, чтобы перестать считать их бесплатными.

Я осмотрел печати, не касаясь. Судебная появилась сегодня. Ведомственная была поставлена семь месяцев назад. На косяке под ней виднелся чёрный след, похожий на отпечаток ладони с шестью пальцами.

— Внутрь можно?

— По акту — только с чиновником надзора, — сказала

Вера. — Лев Борисович подавал прошение.

— И?

— Ему отказали.

— Бумага об отказе есть?

— У Льва Борисовича.

— Как удобно.

Из сада мы вернулись к западной лестнице. Она начиналась за малой библиотекой и с виду ничем не отличалась от любой другой: узкие ступени, тёмные дубовые перила, окно на площадке, выцветший ковёр, на котором судебные исполнители оставили грязные следы. Зеркала не было. На стене сохранился прямоугольник чистых обоев и четыре железных крюка. Без тяжёлой рамы площадка казалась ободранной.

Вера остановилась у первой ступени.

— Не стоит.

— Башня входит в имущество?

— Входит.

— Тогда стоит.

— Отец запрещал.

— Ваш отец назначил меня управляющим после своей смерти. Одно из двух распоряжений придётся нарушить.

Она не ушла. Агафья Петровна тоже осталась, хотя встала у нижнего столба и крепче взялась за ключи. Я поднялся первым. Левая нога тянулась тяжелее правой, ступени скрипели по очереди. На площадке пахло сырым ковром и едва заметно — табаком. Выше лестница поворачивала к треть-

му этажу, где на двери башенки темнела железная накладка.

Я считал ступени. До первой площадки — двенадцать. После поворота — ещё одиннадцать. На двадцать третьей Вера, шедшая сзади, тихо сказала:

— Мы уже были здесь.

Перед нами снова висел прямоугольник чистых обоев. Внизу, у столба, стояла Агафья Петровна.

— Долго, — заметила она.

Я оглянулся. За спиной лестница уходила вверх к башне. Впереди спускалась в малую библиотеку. Мы не разворачивались, однако оказались там, откуда начали.

— Сколько времени прошло? — спросил я.

— Минуты две, — ответила экономка.

— Мы поднялись на этаж.

— Если вам от этого легче, поднимайтесь ещё.

Вера смотрела не на лестницу, а на чистое место от зеркала.

— Раньше она так не делала.

— Когда началось?

— После маминой смерти иногда путала этажи. Потом всё чаще. Отец говорил, что старый дом оседает.

Я присел и провёл ладонью над краем ковра. Обычная лестница держит вес на косоурах, стене и площадочных балках. Здесь нагрузка расходилась иначе: часть уходила вверх, к башне, часть возвращалась к месту, где прежде висело зеркало, и совсем тонкая тяжесть тянула вниз, под фундамент.

Дар Меры отозвался под лопаткой, предлагая показать больше, если я соглашусь заплатить. Я не согласился. На сегодня мы уже торговались.

— Зеркало было не украшением, — сказал я. — Оно замыкало направление.

— Направление чего?

— Если узнаю, сообщу. Пока лестницей не пользоваться.

— На третьем этаже спальни, — возразила Вера.

— Восточная лестница?

— Течёт.

— Служебная?

— Завалена мебелью после описи.

— Освободить до темноты. Эту перегородить.

Вера подняла подбородок.

— Вы даже не поднялись к башне.

— Именно. Я не хожу во второй раз по лестнице, которая первый раз меня обсчитала.

Она коснулась чистого прямоугольника кончиками пальцев.

— Отец в последние месяцы сидел здесь. Иногда до утра.

— Один?

— Он думал, что один.

— Вы следили?

— Я живу в этом доме, Матвей Сергеевич. Здесь трудно не следить. Иногда ночью наверху кто-то ходил, а он стоял у пустого места и говорил: «Ещё не время». Я спрашивала, с

кем он разговаривает. Отец отвечал, что считает ступени.

— И сколько их?

— Двадцать три.

Я посмотрел вверх. До башни отсюда было не меньше тридцати.

Внизу зазвонил колокольчик парадной двери. Агафья Петровна вздрогнула так слабо, что это могло сойти за звяканье ключей.

— Лев Борисович, — сказала она. — Больше некому звонить так, будто дом уже продан.

Лев Борисович Каменец вошёл в кабинет с тремя счётными книгами под мышкой и сожалением на лице. Сожаление относилось не к смерти хозяина, долгам или избитому Герасиму. Оно касалось необходимости объяснять очевидное человеку, который ещё не успел понять своего положения.

Поверенному было тридцать четыре. Худой, гладко выбритый, аккуратный пробор не испортил даже дождь. Сюртук тёмный, неброский, но сшит лучше моего; манжеты слишком белые для служащего дома, где на свечи потратили последние тридцать две копейки. На среднем пальце правой руки темнело чернильное пятно. Лицо он держал вежливым и усталым.

— Матвей Сергеевич, полагаю? События развивались

несколько стремительнее, чем предполагалось. В долговой палате пришлось задержаться для выяснения применимого порядка.

— Кто предполагал?

Каменец моргнул.

— Простите?

— Вы сказали: предполагалось. Кем?

— Это безличный оборот.

— Не люблю безличные обороты. Обычно они первыми покидают место преступления.

Вера сидела у окна, Агафья Петровна принесла ещё чаю и осталась возле двери, хотя служебной причины для этого не имела. Я не возражал. Каменец положил книги на стол, не посмотрев на надпись, которая к тому времени почти исчезла. Лишь «ПОКА» проступало под сажей, и даже оно читалось только под углом.

— Прощение о приостановке описи удовлетворено, — сказал он. — Господин Рудин уже отправил извещение. Имеющееся у вас поручение, несмотря на необычную форму и некоторые возможные возражения, признано достаточным основанием для временного управления.

— Это я знаю. Что вы выясняли в палате до описи?

Его пальцы легли на верхнюю книгу.

— Возможность заявить об отсрочке по состоянию на следницы.

— Письменно?

— Неофициально.

— То есть ходили узнать, можно ли отложить торги, но не подали бумаги.

— Подача заведомо отклоняемого прошения повлекла бы издержки.

— Сколько?

— Два рубля гербового сбора и услуги писца.

Вера отставила чашку.

— Вы не подали прошение из-за двух рублей?

— Из-за отсутствия правовых оснований, Вера Аркадьевна. Денежный вопрос вторичен.

— Он стал вторичным после того, как я назвал сумму? — спросил я.

Каменец перевёл взгляд на меня. Вежливость осталась, усталость исчезла.

— Я полагаю, господин Корнев, что сейчас разумнее перейти к состоянию счетов.

— Наконец-то личное решение.

Он раскрыл первую книгу. Бумага хорошая, столбцы ровные, записи сделаны двумя почерками. Старые — широкой рукой Аркадия, новые — узкой, точной, каменецкой. Между страницами лежали счета, долговые письма и квитанции, скреплённые по месяцам. На первый взгляд порядок был безупречным. Такой порядок я видел у полковых поставщиков перед тем, как в обозе не хватало половины сапог.

— Общая сумма обязательств дома составляет пятьдесят

две тысячи рублей, — произнёс Каменец. — С учётом процентов, обеспечительных расходов и просроченных платежей.

— Основной долг?

— Разнесён по нескольким соглашениям.

— Сумма.

— Тридцать одна тысяча по первоначальной закладной. Остальное — проценты, комиссии, расходы на обеспечение сохранности и присоединённые обязательства.

Я поднял глаза. Вера побледнела.

— Двадцать одна тысяча сверху за полгода?

— За восемнадцать месяцев. Часть обязательств возникла раньше, но была консолидирована позднее.

— Кем?

— Документы подписывал Аркадий Михайлович.

— Я спросил, кто их свёл.

— Северное кредитное общество предложило более управляемую схему.

— Для кого?

Он выдержал паузу.

— Для кредитора, очевидно.

Честность прозвучала неожиданно и потому весила больше.

— Сколько нужно за тридцать дней? — спросила Вера.

Каменец вынул отдельный лист.

— Девять тысяч рублей. Эта сумма покрывает просрочен-

ное требование, судебные расходы и минимальный платёж, необходимый для отзыва имущества с торгов. Основной долг сохранится.

— Если заплатить восемь тысяч девятьсот девяносто девять?

Он посмотрел на меня как на человека, который из любопытства пробует на вкус сургуч.

— Торги состоятся.

— Хорошо. Значит, девять тысяч — не пожелание.

— Никто и не представлял иначе.

— В этом доме много чего представляли иначе. Уголь, например.

Я начал разбирать квитанции. Продовольственные долги, доктор, аптекарь, уголь, стекольщик, электрическое товарищество, налоги, плата за очистку мостовой. Отдельной строкой шли расходы Северного общества на «поддержание заложенного имущества»: осмотры, охрана, хранение описанных предметов. Дом платил кредитору за то, что кредитор следил, как дом разоряется.

— Касса, — сказал я.

Каменец достал из внутреннего кармана маленький ключ.

— Денежный ящик находится в нижней секции стола.

— Почему ключ у вас?

— Я веду счета.

— Вера Аркадьевна, вы когда-нибудь видели кассу?

— Отец не занимал меня хозяйственными мелочами.

— Пятьдесят две тысячи перестают быть мелочью только после смерти?

Она вспыхнула.

— Мне восемнадцать.

— Именно поэтому нужно было начать раньше.

— Матвей Сергеевич, — тихо произнесла Агафья.

Я понял предупреждение, но поздно. Вера отвернулась к окну. Аркадий растил наследницу так, словно у него имелся запасной десяток лет, а теперь отвечать за это пришлось ей.

— Я не вас обвиняю, — сказал я.

— Звучит похоже.

— Я плохо утешаю.

— Это я уже поняла.

Каменец стоял с ключом, не вмешиваясь. Человек, привыкший пережидать чужие ссоры, получает в доме слишком много власти.

Я протянул руку.

— Ключ.

Он передал. Я открыл нижнюю секцию. Денежный ящик оказался небольшим железным ларцом, прикрученным к полу. Внутри лежали кредитные билеты, серебряная мелочь, медь, две расписки и засушенный лавровый лист. Последний не имел денежной ценности, хотя выглядел надёжнее части бумаг.

Считали втроём. Я называл сумму, Каменец проверял, Вера складывала монеты в стопки. Агафья Петровна молча

принесла кухонные весы, когда один рубль показался мне подпиленным. Рубль оказался честным.

— Сорок семь рублей восемнадцать копеек, — сказал Каменец.

— Сколько из них уже обещано?

— Двадцать семь рублей угольщику, одиннадцать мяснику, шесть аптекарю, три с полтиной доктору за сегодняшний выезд.

— Получается минус тридцать две копейки, — заметила Вера.

— Доктор просил пять, — сказала Агафья. — Получит три. Он ел наш хлеб, пока осматривал Герасима.

— Значит, восемнадцать копеек пока свободны, — подвёл я итог. — Уже лучше, чем ничего. Ничего нельзя разделить. Восемнадцать копеек — можно.

Вера посмотрела на меня.

— На что?

— На две поездки конкой, если один раз пройти пешком.

— До девяти тысяч немного не хватает.

— Восемь тысяч девятьсот девяносто девять рублей восемьдесят две копейки. Люблю точные задачи.

Она тихо выдохнула через нос. Не улыбнулась, но и к окну больше не отвернулась.

Следующие два часа мы превращали разорение в числа. Кровля, проводка, уголь, еда, лекарства Герасиму, разбитое окно, ремонт котельного знака, долги людям. Каменец отве-

чал охотно, пока вопрос касался итоговой суммы, и заметно медленнее, когда я просил основание. Он постоянно говорил: «было принято», «возникла необходимость», «представилось целесообразным». После четвёртого безличного решения я начал пометать их на полях маленькими крестами. К седьмому он это заметил.

— Что означают эти знаки?

— Места, где решение возникло без родителей.

— Финансовые документы имеют установленную форму.

— В форме есть графа для подписи. У ваших решений её почему-то нет.

Каменец сложил руки.

— Аркадий Михайлович в последние месяцы был болен. Многие распоряжения передавались устно.

— Кому?

— Мне.

— Вот и родитель нашёлся.

Агафья Петровна у двери кашлянула, скрывая смешок. Вера не скрыла.

Снаружи стемнело. Рабочие закончили возвращать мебель, Рудин прислал копию акта с пометкой об аварийных воротах, а доктор — записку, где требовал покоя для Герасима и почему-то для меня. Вторую половину записки я использовал под расчёты. Когда список текущих расходов перевалил за семьсот рублей, Каменец начал поглядывать на часы.

— У меня есть семейные обстоятельства.

— У всех есть. Поэтому семьи так мешают службе. Сколько в расходах стоит наружная охрана?

Он перелистнул книгу.

— Сто восемьдесят рублей ежемесячно по договору с товариществом «Северный щит».

— Я не видел охраны.

— Сотрудники товарищества осуществляют внешний надзор и прибывают по тревожному знаку.

— Тревожный знак работает?

— Насколько мне известно.

— Агафья Петровна?

— Прошлой осенью со двора украли водосточную трубу, — сказала она. — Знак звенел до утра. Никто не пришёл.

— Обстоятельства исполнения договора следует уточнить у подрядчика, — произнёс Каменец. — Односторонний отказ сейчас может повлечь взыскание.

Я записал: «Наружная охрана — 180. Договор. Не трогать до проверки». Эта строка сразу ухудшила смету, но привычка сначала учитывать обязательство, а потом выяснять, можно ли его выбросить, спасла мне в своё время больше денег, чем смелость.

— Вы останетесь на совещание с людьми? — спросил я.

— Боюсь, это не относится к моим полномочиям.

— Жалованье начисляли вы.

— Начисление не означает наличия средств для выплаты.

— Я не спрашивал о средствах. Я спрашивал, останетесь ли вы посмотреть на людей, которым два месяца писали цифры вместо денег.

Каменец застегнул сюртук.

— Моё присутствие может создать ложные ожидания.

— Ваше отсутствие создаст правильные.

Он посмотрел на Веру, ожидая, что она вмешается. Вера медленно сняла с платья отцовскую булавку, покрутила между пальцами и приколола обратно.

— Оставайтесь, Лев Борисович.

— Вера Аркадьевна...

— Это не безличное решение.

Каменец поклонился. Совсем немного, но я увидел: кивок предназначался не молодой хозяйке, а обстоятельствам, которые временно оказались сильнее.

К девяти вечера в кухне собрались все, кроме Герасима. Старик лежал в соседней комнате с перевязанным плечом, опухшим лицом и категорическим запретом вставать, который уже дважды нарушил. Дверь оставили открытой, чтобы он слышал.

Агафья Петровна сидела во главе длинного стола, потому что никто не осмелился занять это место раньше неё. Справа устроились истопник Степан Григорьевич и садовник Па-

вел Еремеев, слева — горничная Дуня Савельева и кухонная девушка Поля Ильина. Дуне было около двадцати пяти, она держала руки под столом и смотрела на меня настороженно. Павел принёс пилу и положил возле ноги, словно не верил, что совещание останется мирным. Поля сидела на самом краю лавки, готовая в любую минуту сорваться к плите. Каменец выбрал стул у двери. Вера сперва встала за спиной Агафьи, но я указал на свободное место рядом с собой.

— Вы хозяйка, — сказал я. — Люди должны видеть ваше лицо, когда мы будем предлагать им работать без денег.

— Вы умеете обнадёжить.

— Для обнадёживания у нас будет бухгалтер.

Каменец не оценил.

На столе горела одна керосиновая лампа. Электричество в этой части дома работало, но Степан выключил его после моего распоряжения. Перед каждым стояла кружка слабого чая, посередине — хлеб, миска картофеля и остаток буженины, нарезанный так тонко, что сквозь ломти можно было читать мелкую печать долгового договора.

Я положил на стол шесть листов.

— Сначала плохое. В кассе сорок семь рублей восемнадцать копеек. Все деньги уже обещаны поставщикам и доктору. Общий долг дома — пятьдесят две тысячи. Чтобы через тридцать дней не начались торги, нужно найти девять тысяч. Жалованье вам не платили два месяца.

Поля открыла рот. Агафья накрыла её руку ладонью, и де-

вушка промолчала.

— Есть два варианта, — продолжил я. — Первый: вы уходите. Сегодня. Получаете расписку от дома на всю сумму невыплаченного жалованья с моей подписью и подписью Веры Аркадьевны. Расписка не превратится в деньги завтра, но даст право требовать их с имущества наравне с другими обязательствами. Агафья Петровна выдаст вам еду на три дня. Препятствовать никто не станет, дурного слова вслед не услышите.

Дуня впервые подняла глаза.

— А второй?

— Остаться на тридцать дней. Прежний долг сохраняет-ся. Новой твёрдой ставки я обещать не могу: денег нет. Из каждого заработанного домом рубля после стоимости материалов треть будет уходить на жалованье и распределяться между вами по размеру долга, пока мы его не закроем. Еда и жильё — за домом. Если через неделю решите уйти, получите такую же расписку. Если поймёте, что я вру, можете сообщить это всем остальным прежде, чем хлопнете дверью.

— Заработанного чем? — спросил Степан Григорьевич. — Комнаты сдавать нельзя, мастерская под печатью, сад одичал.

— Не знаю.

Каменец чуть шевельнулся на стуле. Он, вероятно, ожидал речи о будущих доходах, старых связях и неизбежном спасении. Люди тоже ждали. Я дал им время разочароваться.

— Тогда зачем оставаться? — спросила Дуня.

— Это вы решаете. Не я.

— Но вы же предлагаете.

— Я предлагаю риск. Преимущества у него пока скромные: крыша течёт не везде, кухня работает, а кредитор вернётся только через тридцать дней. Ещё я умею считать, знаю людей, которым иногда требуются исправные обереги, и не намерен отдавать ни одного заработанного рубля тому, кто не покажет основание. На девять тысяч этого мало. Для начала достаточно.

— У вас есть деньги? — спросил Павел.

— Семь рублей в кошельке и обратный билет.

— Билет продадите?

— Невозвратный.

— Жалко.

— Мне тоже.

Поля не выдержала:

— А если заказов не будет?

— Тогда через тридцать дней вы получите расписку от дома, который уйдёт с торгов. Поэтому я не называю второй вариант хорошим.

В комнате Герасима скрипнула кровать. Агафья Петровна повернула голову.

— Лежите, старый чёрт!

— Не кричи на управляющего, — донеслось из-за двери.

— Я на вас кричу!

— Тогда можно.

Поля закрыла рот обеими ладонями, но смех всё равно вырвался. Напряжение за столом стало чуть слабее.

Я подвинул листы к людям.

— Здесь два образца. Уход и продолжение работы на тридцать дней. Оба можно прочесть, задать вопросы, переписать. Каменец проверит формулировки.

— Разумеется, потребуется привести документы в надлежащий вид, — сказал поверенный, беря верхний лист. — Участие в будущих поступлениях должно быть определено точнее, иначе...

— Определите. Только так, чтобы понял человек без юридического образования.

— Правовые отношения не всегда допускают бытовое изложение.

— Тогда найдём другого поверенного.

Каменец посмотрел на меня поверх бумаги.

— Смена поверенного в текущем положении нежелательна.

— Видите, как быстро вы научились бытовому изложению.

Он взял карандаш.

Дуня читала медленно, двигая губами. Павел наклонился к ней через стол, потому что сам, видимо, разбирал буквы хуже. Поля не читала — смотрела на Веру.

— А вы что подпишете? — спросила она.

Вера вздрогнула.

— Я?

— Дом ваш.

Простой вопрос вошёл точнее любого моего. Вера посмотрела на два листа, на людей, на тонкие ломти буженины. Её пальцы нашли булавку у горла.

— Я подпишу обе расписки, — сказала она. — И обязательство о доле. Если дом продадут, мой личный долг перед вами останется.

Каменец поднял голову.

— Это неразумно. Наследница не обязана принимать на себя дополнительные личные...

— Я два месяца ела то, что они готовили, топила комнаты углём, который они доставали, и спала под крышей, которую они латали. Обязана.

Голос у неё дрожал только на последнем слове. Она злилась на себя за дрожь и потому смотрела вызывающе.

— Подпись увеличит доверие к документу, — сказал я.
— Но прежде посчитайте максимальную сумму.

— Вы же знаете.

— Я знаю. Хочу, чтобы знали вы.

Агафья Петровна принесла счётную доску. Каменец начал перечислять долги по жалованью, Вера складывала. У Агафьи ставка была выше, у Поли — ниже, Герасиму причиталось с надбавкой за ночные дежурства, хотя последние месяцы внешняя охрана будто бы должна была их отменить.

Общая сумма вышла четыреста двенадцать рублей.

— Столько? — тихо спросила Вера.

— Люди дороги, когда не считать их бесплатными, — ответил я.

Она пересчитала сама. Ошиблась, начала снова и дошла до той же суммы.

Первой решила Дуня.

— Я останусь.

— Причина? — спросил я.

— Обязательно?

— Нет. Но мне нужно понимать, чего вы ждёте.

Она вытащила руки из-под стола. На ладонях краснели следы иглы.

— Мне в другом доме дадут место, если принесу рекомендацию. Лев Борисович обещал, но не написал. Без рекомендации я получу меньше, чем здесь должна была получать. А расписку хозяин квартиры в кашу не добавит. Останусь неделю. Потом посмотрю.

— Разумно.

Каменец кашлянул и принялся особенно тщательно править документ.

Степан Григорьевич положил обожжённую рукавицу на стол.

— Если уйду, котёл встанет. Новый истопник не знает, где обратная тяга и какой вентиль подклинивает. Он дом спалит или себя. Я останусь, пока не покажу. Дальше — если уголь

будет.

— Завтра получите право заказывать уголь напрямую, — сказал я. — С моей подписью. Каждый счёт показываете Вере Аркадьевне.

— Она в котлах понимает?

— Научится понимать в счетах.

Вера кивнула. Не уверенно, зато без обиды.

Павел почесал царапину на щеке.

— Я тоже останусь.

— Сад?

— Комната.

— Какая?

— В каретнике. Если уйду, жить негде. И в оранжерее тени. Они после темноты стеклянный мох едят, а потом лезут к окнам. Я их знаю.

— Честно.

— Сад тоже жалко.

— Это уже излишество.

— Я останусь, — закончила Агафья. — Не из-за вас. Вы мне пока не нравитесь.

— Облегчение взаимно.

— И не из-за дома. Дом большой, дурной, зимой жрёт уголь, летом деньги, круглый год требует мыть окна. Я останусь из-за Веры Аркадьевны, потому что её нельзя оставлять с мужчинами, которые говорят «было принято» и не называют, кто принимал.

Каменец отложил карандаш.

— Если это относится ко мне...

— Если узнали себя, Лев Борисович, не стану мешать.

В комнате Герасима снова скрипнула кровать.

— Герасим Фомич! — крикнула Вера. — Вы что выбрали?

— Где крест ставить? — отозвался старик.

— Вы умеете писать.

— После доктора хуже стал.

— Он остаётся, — перевела Агафья.

Все посмотрели на Полю.

Девушка оглядела стол, будто надеялась, что за время разговора появится третий лист с хорошим вариантом.

— Мне Агафья Петровна половину жалованья отдала, — сказала она. — Значит, мне меньше должны.

— Дом должен всю сумму, — ответила экономка. — Мои деньги — мои.

— Тогда я останусь, пока вам не вернут.

— Мне вернут раньше, чем тебе.

— Тогда пока мне не вернут.

— Вот упрямая.

— Вы учили.

Агафья Петровна отвернулась к печи. Большая сильная рука на мгновение легла на Полину голову и тут же убралась, словно экономка только проверила, не сбилась ли косынка.

Каменец переписал обязательство начисто. Вера подпи-

сала первой, медленно, выводя каждую букву. Я поставил подпись под её. Потом расписались остальные. За Герасимом сходили в комнату; он нарисовал имя криво, с кляксой, и потребовал считать кляксу личной печатью.

— Это ничего не меняет, — сказал я, когда последний лист вернулся на стол. — Денег по-прежнему нет. Завтра в семь утра начинаем полную опись того, что не успели описать взыскатели: инструменты, припасы, исправные знаки, пустые комнаты, всё, за что готовы платить или чем можно выполнить работу. До тех пор никто ничего не продаёт, не снимает со стены и не прячет из лучших побуждений.

Агафья Петровна поджала губы.

— Если вы обо мне...

— Я обо всех. Хорошие побуждения уже стоили дому медного контура и чайного серебра. Третьего раза может не выдержать котёл или прабабушка Веры.

— А западная лестница? — спросил Павел.

— Перекрыть. Если услышите сверху знакомый голос — не отвечать.

Поля побледнела.

— Чей?

— Поэтому и не отвечать, что знакомый.

— Вы сейчас пошутили? — спросила Дуня.

— Наполовину.

Лампа на столе дрогнула, хотя сквозняка не было. Из комнаты Герасима донеслось:

— Аркадий Михайлович тоже сначала наполовину шутил.
Вера резко встала.

— Что это значит?

Старик не ответил. Агафья пошла к нему, Поля — следом. Степан унёс лампу проверить котельную, Павел подхватил пилу. Совещание закончилось не выводом, а работой, что обычно было полезнее.

Каменец собрал книги.

— Я заберу текущий журнал. Утром потребуется внести новые обязательства.

— Книги останутся здесь.

Он замер.

— Я отвечаю за их сохранность.

— Теперь я.

— Поручение не прекращает моих полномочий поверенного.

— И не даёт вам права уносить имущество дома после начала условного управления. Можете работать здесь.

— В моём кабинете находятся необходимые бумаги.

— Завтра перенесёте.

— Это создаст неудобство.

— Наконец-то нашли расход, который дом может себе позволить.

Каменец прижал перчатки к ладони. На среднем пальце чернильное пятно казалось чёрной точкой.

— Аркадий Михайлович доверял мне.

Вера стояла у печи спиной к нам. При этих словах плечи у неё напряглись.

— Поэтому книги и нужны, — сказал я. — Чтобы понять, кому доверял Аркадий и сколько это стоило.

Он медленно положил журнал обратно.

— Завтра в девять.

— В восемь.

— Присутствие поверенного не требуется при хозяйственной описи.

— Тогда в семь.

Каменец улыбнулся впервые за вечер. Улыбка была тонкой, усталой и почти настоящей.

— Теперь я понимаю, почему полковник выбрал вас.

— Если поймёте, почему он выбрал вас, сообщите.

Улыбка исчезла. Он поклонился Вере и вышел.

Я вернулся в кабинет после полуночи. Комнату не топили по моему же распоряжению, и решение оказалось хуже, чем днём. Накинув пальто поверх сюртука, я сел за стол, придвинул лампу и разложил книги. Из кухни доносился глухой стук — Агафья ещё убирала посуду. Потом дом затих. Не по-настоящему: старые здания никогда не молчат. В трубах вздыхала вода, в стене шуршала штукатурка, над потолком время от времени делал шаг тот, кому чердак, видимо, был мал.

Я составил первую честную смету. Честность её заключалась не в точности — половину цен предстояло прове-

ритель, — а в том, что ни одна цифра не притворялась деньгами. Слева я записал всё, что требовалось дому на тридцать дней: уголь, еду, лекарства, стекло, временный ремонт кровли, медь для котельного знака, гербовые сборы, жалование. Справа — то, что имелось: сорок семь рублей восемнадцать копеек, мой невозвратный билет, несколько комнат, которые нельзя сдавать, опечатанная мастерская, испорченные обереги и шесть человек, согласившихся работать за обещание, сформулированное достаточно ясно, чтобы потом предъявить его мне же.

Последнее было единственным настоящим капиталом. Поэтому обращаться с ним следовало осторожнее, чем с деньгами.

Левая рука к этому времени ожила окончательно и мстила за возвращение. Пальцы сводило, под лопаткой жгло, в ухе тонко звенело. Я разжал перчатку зубами, растёр ладонь и вспомнил, как двенадцать лет назад полевой врач объяснял мне устройство нервов на примере телеграфного провода. Если провод перебит, сообщение не доходит. Если соединить плохо, доходит не туда. Врач был умный, молодой и умер через неделю от осколка, который никакого отношения к его знаниям не имел. С тех пор я не любил, когда люди обещали телу разумное поведение.

На краю стола лежал билет. Поезд ушёл два часа назад. Я не слышал свистка, не принял решения остаться, не совершил ничего достойного воспоминаний. Просто в какой-то

момент обратная дорога перестала существовать по расписанию. Это было похоже на службу: важнейшие перемены происходили, пока ты считал мешки.

Я снова открыл расходную книгу. Аркадий вёл хозяйство неровно. В хорошие месяцы проверял каждую цену, ругался на масло для ламп и собственной рукой вычитал из счёта рубль за разбитую бутылку. Потом почерк стал торопливее. Появились распоряжения без пояснений, новые соглашения, выплаты Северному обществу. Последняя запись Аркадия была сделана за четыре дня до смерти: «Западный контур не открывать. Льву — отказать». Ниже Каменец аккуратно записал оплату наружной охраны.

Я перенёс обязательные расходы на отдельный лист и пронумеровал. Уголь. Пища. Лекарства. Кровля. Электричество. Огневой знак. Гербовые сборы. Наружная охрана — сто восемьдесят рублей. Жалованье. Под цифрами получалась сумма, которая имела к сорока семи рублям отношение насмешливое.

Глаза закрылись сами. Я позволил им сделать это на минуту, положив правую руку на книгу. В походах человек учится спать сидя, стоя, под выстрелами и во время доклада начальника. Хуже всего спалось в тишине, когда мозг принимался за дела, которые днём удавалось держать в строю.

Мне приснился брат. Не мёртвый — это было бы слишком прямолинейно, — а живой, лет двенадцати, с разбитой губой и украденным у меня ремнём. Он сидел на заборе возле на-

шего старого дома и обещал вернуть ремень завтра. Я знал, что никакого завтра не будет, но всё равно спорил о пряжке.

Разбудил запах табака.

Лампа почти погасла. За окном синела предутренняя тьма, по стеклу шёл мокрый снег. В кабинете было так холодно, что дыхание белело. Над потолком медленно прошли три шага и остановились прямо надо мной.

— Если хотите курить, откройте форточку, — сказал я.

Дом не ответил.

На рабочем листе что-то изменилось. Сначала я решил, что спросонья не узнаю собственный почерк. Потом увидел: цифра восемь, стоявшая перед строкой «Наружная охрана — 180», исчезла. Чернила не были зачёркнуты или размазаны. Восемь находилась на другом конце листа, возле правого поля, будто невидимый палец подцепил её ещё влажной и перетащил через бумагу. За ней тянулся тонкий серый след.

Строка осталась без номера.

Я наклонился ближе. Пахло тем же табаком, которым пропиталось письмо Аркадия и воздух у западной лестницы.

— Этого расхода не должно быть?

Сверху один раз стукнули.

Я достал из шкафа акт об увольнении прислуги, который нашёл между квитанциями. Одиннадцать месяцев назад Аркадий распустил внешнюю охранную артель, отказался от казарм во флигеле и перевёл ночные дежурства на Герасима. Под документом стояли подписи Аркадия, Каменца и пред-

ставителя товарищества «Северный щит».

В расходной книге сто восемьдесят рублей продолжали уходить каждый месяц.

Я проверил июнь. Июль. Август. Все одиннадцать месяцев, включая последний. Потом нашёл свежую квитанцию: платёж провели вчера, уже после смерти Аркадия, когда в кассе оставалось меньше пятидесяти рублей и дом готовили к описи.

За окном светлело. На стене напротив окончательно исчезло слово «ПОКА», словно дом решил, что испытательный срок можно не обсуждать, пока я читаю счета.

Внешней охраны у Белогорьевых не было одиннадцать месяцев.

Платили ей до вчерашнего дня.

Глава 3. Первое правило хозяйства

К семи утра я успел отменить наружную охрану, которой не существовало, разбудить поверенного двумя записками и выяснить, что дом Белогорьевых способен одиннадцать месяцев не замечать пропажи ста восьмидесяти рублей, но не прощает человеку попытки взять кухонный чайник без спроса.

Чайник отобрала Агафья Петровна.

— Вы зачем встали? — спросила она, прижав посудину к животу обеими руками. — Нормальные люди после бессонной ночи лежат.

— Нормальные люди не принимают управление усадьбой с долгом в пятьдесят две тысячи.

— Вот и не надо было принимать.

— Поздно. Стена уже написала.

За окнами кухни серел второй день моего управления. Мокрый снег, шедший ночью, превратился в дождь и теперь стекал по стёклам длинными грязными нитями. Степан Григорьевич растапливал плиту, экономя каждую щепку; Поля резала вчерашний хлеб и украдкой зевала в плечо; Дуня принесла из людской чернильницу, у которой крышка заменялась пробкой. На длинном столе лежали три счётные книги, акт о роспуске охраны, свежая квитанция на сто восемьдесят рублей и лист, куда я крупно выписал три правила. Лево́й

рукой писать пока не получалось, поэтому буквы вышли наклонными, словно правила уже пытались уйти со службы.

Вера вошла последней. Она переоделась в простое тёмное платье, косу собрала ту же обычного и держалась так прямо, будто спала не меньше восьми часов. Под глазами лежали серые тени. Увидев на столе квитанцию, она не спросила, почему мы собрались, а сразу взяла бумагу и прочла оборотную сторону.

— Деньги отправили после смерти отца?

— Вчера. Когда во дворе уже стояли фургоны взыскателей.

— Лев Борисович подписал?

— Платёж произведён на основании постоянного поручения. Подписывать каждый раз не требовалось. Удобно: человек умер, дом разорён, а поручение продолжает службу.

Вера положила квитанцию рядом с актом. Пальцы задержались на подписи отца. Сегодня она не стала защищать решение, о котором ничего не знала.

— Вы сказали, что отменили охрану, — заметил Павел. Он стоял возле двери с пилой, словно с вечера так и не решил, может ли совещание окончиться дракой. — А если они придут?

— Тогда впервые исполнят договор.

Поля фыркнула. Агафья Петровна поставила передо мной чашку без блюдца и села во главе стола. Герасима не принесли — доктор запретил, Агафья запретила строже, а кровать

старик передвинуть не сумел. Дверь в его комнату оставили открытой. Оттуда доносилось тяжёлое сопение, временами слишком ровное, чтобы быть сном.

Я подвинул лист к середине стола.

— На ближайшие тридцать дней у нас будут три правила. Первое: никто не скрывает поломку. Ни в доме, ни в знаке, ни в себе. Нашли трещину, услышали лишний стук, не чувствуете два пальца после работы — говорите до того, как это станет дорогой неприятностью.

— А если поломка старая и денег на неё всё равно нет? — спросила Дуня.

— Тогда мы хотя бы не поставим под неё кровать.

Она кивнула, но глаза отвела. Значит, знала что-то, о чём пока не собиралась говорить. Первое правило уже окупалось.

— Второе: никто не рискует чужой жизнью без согласия. Своей можете распоряжаться в пределах здравого смысла. Чужой — нет.

— А если я вижу, что человек к котлу с огнём полез?

— Сначала оттащите. Согласие спросите потом.

— Значит, правило не всегда действует.

— Значит, вы один раз переспросили. Это третье правило. Любой приказ можно переспросить один раз до начала дела. Если после ответа приказ кажется вам самоубийственным или подлым, отказываетесь сразу. Если приняли — исполняете и не переделываете по дороге так, как вам показалось лучше.

Павел почесал щёку рукоятью пилы.

— А второй раз переспросить нельзя?

— Можно. После второго я найду человека понятливее.

— Удобно, — сказала Вера. Она не садилась. Стояла у края стола, положив ладонь на спинку пустого стула. — Это правила для прислуги?

— Для дома.

— Дом принадлежит Белогорьевым.

— Долг тоже. Он, судя по книгам, соблюдал равенство лучше нас.

Её пальцы сжали спинку.

— Вы не ответили.

— Правила одинаковы для Агафьи Петровны, Поли, вас и меня.

— Я хозяйка.

— Поэтому с вас спрашивать будут раньше.

В кухне стало тихо. Поля перестала двигать ножом, Степан прикрыл заслонку осторожнее, чем требовалось, а Павел наконец убрал пилу от лица. Вера смотрела на меня тем самым отцовским взглядом, от которого в полку люди вспоминали о срочных обязанностях в другом конце лагеря.

— И если я прикажу что-то вам? — спросила она.

— Переспрошу один раз.

— А потом?

— Либо исполню, либо откажусь.

— Вы управляющий, назначенный моим отцом.

— На тридцать дней. Не крепостной и не мебель. Люди за этим столом тоже.

Она резко отодвинула стул. Ножки скрипнули по камню, и Поля вздрогнула.

— Прекрасно. Тогда мой первый приказ: не разговаривайте со мной как с неразумной.

Я подумал.

— Уточнение. Это относится к словам или к решениям?

Уголок её рта дёрнулся, но Вера не позволила себе улыбнуться.

— Один раз вы уже переспросили.

— Приказ принят.

Она села. Агафья Петровна молча разлила чай, начиная с Веры и заканчивая мной, чем выразила своё мнение о порядке подчинения точнее любого документа.

— Теперь работа, — сказал я. — Степан Григорьевич проверяет котёл и пишет всё, что может отказать за месяц. Павел Еремеев и Дуня считают инструменты. Поля — припасы. Ничего не продаём. Агафья Петровна сверяет, что уже продали из необходимого. Вера Аркадьевна работает со мной и учится читать договор так, чтобы договору становилось неловко.

— А вы? — спросила Вера.

— Жду человека, который умеет отличить треснувшую балку от усталого потолка.

— Мы кого-то наняли?

— Пока только позвали.

— За какие деньги?

— Хороший вопрос. Зададите ему.

Павел ещё затемно отнёс Каменцу две записки, а третью

— в меблированные комнаты у гавани. Ответа не было.

Агафья Петровна поджала губы.

— И кого вы позвали на пустой кошелёк?

— Сапёра.

Из комнаты Герасима донеслось:

— Дом взрывать будете?

— Только если смета не сойдётся, — ответил я.

Старик удовлетворённо хмыкнул и перестал притворяться спящим.

Лев Борисович явился без четверти восемь, хотя вчера уверял, что раньше девяти присутствие поверенного в доме избыточно. На его манжетах не было ни пятна, волосы лежали ровно, зато дыхание сбилось — от экипажа до крыльца он шёл быстрее обычного. Две мои записки торчали из внутреннего кармана сюртука сложенными вместе.

— Распоряжение о прекращении платежа составлено некорректно, — сказал он вместо приветствия. — Вы не можете отменить договор одним письмом.

— Поэтому вторым я запросил договор.

— Подлинник находится у товарищества.

— Копия?

— Должна быть в архиве.

— Каком?

Каменец снял перчатки и только потом ответил:

— Архив Аркадия Михайловича частично опечатан. Часть бумаг могла остаться в кабинете прежнего управляющего.

— Вчера вы говорили, что необходимые бумаги находятся у вас.

— Необходимые для текущего ведения дел.

— Одиннадцать платежей за несуществующую охрану оказались недостаточно текущими?

Он посмотрел на Веру. Она сидела рядом со мной, разбирая квитанции по датам, и не подняла головы.

— Товарищество «Северный щит» предоставляло не только людей, — произнёс Каменец. — Договор мог включать наблюдение за тревожным контуром и срочный выезд.

— Прошлой осенью со двора унесли водосточную трубу. Тревожный знак звенел до утра.

— Мне этот случай не докладывали.

— Первое правило хозяйства, Лев Борисович: если о поломке не доложили, она от этого не чинится.

Он перевёл взгляд на правила, прибитые к кухонной стене, но читать не стал.

— Постоянное поручение нельзя остановить задним чис-

лом, — сказал он. — Вчерашний платёж уже проведён.

— Вернуть можно?

— При наличии основания.

— Отсутствие одиннадцати месяцев услуг сойдёт?

— Это потребуется доказать.

— Вот и займётесь. Запросите журналы выездов, список дежурных и подтверждение каждого осмотра. Отдельно — кто дал распоряжение провести платёж после смерти Аркадия Михайловича.

Каменец медленно сложил перчатки.

— Вы подозреваете хищение?

— Я подозреваю арифметику. Она не умеет обижаться.

— Подобный запрос сообщит обществу, что мы ставим под сомнение его добросовестность.

— Если общество добросовестно, оно переживёт.

— А если нет?

— Тем полезнее сообщить.

Вера положила перед ним чистый лист, чернильницу и ручку.

— Пишите, Лев Борисович.

Он посмотрел на неё дольше, чем позволяла обычная служебная пауза. В лице ничего не изменилось, только чернильное пятно на пальце оказалось возле белого манжета, и Каменец поспешно отдернул руку.

— Формулировка требует осторожности.

— У вас она обычно заменяет решение, — сказала Вера.

— Сегодня пусть поможет.

Перо заскрипело. Каменец написал два запроса, дал мне проверить, исправил «возникшее сомнение» на «неисполнение обязательств» и ушёл, пообещав передать бумаги лично. Я не стал спрашивать, почему лично. Если за человеком достаточно долго не закрывать дверь, он сам покажет, куда ходит.

Семён Ильич Лисов пришёл около полудня. Сначала в ворота вошёл рыжий бородатый человек в потёртом пальто и гражданском котелке, который сидел на его голове так, словно всю жизнь мечтал стать каской. Потом следом протиснулся ящик с инструментами. Семён нёс его одной рукой. На второй не хватало двух пальцев, но ящик об этом не знал.

Он поставил его в прихожей, оглядел снятые картины, судебные бирки, разбитое окно и герб над дверью.

— Богато, — заключил он.

— Было.

— Я о работе.

Мы не виделись четыре года. Борода у него стала шире, плечи — уже, а прежнее спокойное безразличие во взгляде теперь выглядело старательным. От пальто пахло сыростью и дешёвым мылом. Спиртом не пахло. Я проверил раньше, чем успел решить, имею ли право.

Семён заметил.

— Трезвый.

— Не спрашивал.

— Потому и ответил. Записку получил. Там сказано: перекрытия, старые знаки, платы не обещаю.

— Всё верно.

— Это работа или милостыня?

— За милостыней обращайся к Белогорьевым лет десять назад. Сейчас у нас сорок семь рублей, и все чужие.

— Значит, работа.

Вера стояла на лестнице и слушала. Семён снял котелок, увидев её, но кланяться не стал.

— Семён Ильич Лисов, бывший сапёр, — представил я.

— Раньше определял, какой мост рухнет первым, если по нему одновременно пустить обоз и начальство.

— Начальство всегда тяжелее, — сказал Семён. — Его больше.

— Вера Аркадьевна Белогорьева. Хозяйка дома.

— Чем платить будете, хозяйка?

Вера спустилась на последнюю ступень.

— За осмотр — обедом. Если останетесь — еда, койка и запись жалованья в долг дома. Третью первых денег после материалов идёт людям. Старый долг выплатим первым. Срок тридцать дней.

Семён перевёл взгляд на меня.

— Научил?

— Вчера она не знала, где касса.

— Я здесь, — напомнила Вера.

— Именно поэтому говорю не за спиной.

Семён поскрёб бороду тремя пальцами.

— Обед сначала. Потом посмотрим, не врёт ли крыша.

Агафья Петровна, появившаяся в дверях кухни, оценила его пальто, сапоги, ящик и аппетит.

— Крыша врёт меньше мужчин, — сказала она. — Руки мыть внизу.

— Какая из двух?

Она посмотрела на отсутствующие пальцы.

— Обе. Недостаток не освобождает от грязи.

Через десять минут Семён уже простукивал балку в восточном крыле и называл расстояния. В работе он переставал шутить. До внешней стены — девять шагов, трещина уходила на полтора аршина, вторая балка держала за первую вместо кладки. Из трёх протечек немедленно требовалось закрыть одну: вода над коридором дошла до электрической линии.

— До сильного дождя простоит, — сказал он.

За окном дождь постучал по карнизу.

— Очень полезное уточнение.

— Я про следующий.

Семён влез на стремянку, снял плафон и заглянул в стену через старое отверстие. Потом попросил выключить ток во всём крыле. Степан спустился в подвал и вернулся с руганью: нож рубильника заело, пришлось бить рукоятью совка.

— Ещё одна поломка, о которой никто не сказал? — спросил я.

Истопник нахмурился.

— Он всегда заедал.

— Теперь будет заедать письменно.

Семён спустился, вытер пальцы о тряпку и показал на тонкую медную жилу, уходившую не к лампе, а в сторону западной части дома.

— Это не освещение. Сигнальная линия. Старая. Разорвана в трёх местах и почему-то заведена к лестнице.

— Наружная тревога? — спросила Вера.

— Если наружная, то улица у вас внутри дома. Провод заканчивается возле западного коридора.

Я вспомнил звонок, который осенью работал всю ночь, пока со двора уносили трубу, и людей, которым платили за срочный выезд.

— Можно оживить?

Семён пожал плечом.

— Один участок. Ненадолго. Нужна медь.

— Медь у нас была, — сказал Степан.

— Была — плохой материал.

Истопник покраснел. Семён не знал о проданных пластинах и попал случайно, но слова легли точно. Я ждал, что Степан промолчит. Он снял кожаную рукавицу, положил на подоконник и сказал:

— В котельной за дальним щитом остался обрезок. Я спрятал. Думал, на заплату понадобится.

Первое правило принесло нам медь.

— Принесите, — сказал я.

— Я не договорил. Обрезок с трещиной.

— Второй раз сообщать ту же поломку не обязательно. Семён?

— На сигнал хватит.

Он посмотрел на людей в коридоре: Дуня несла бельё, Павел возился у чердачного люка, Вера всё ещё держала пустую стремянку. Дом впервые не просто разрушался при свидетелях. В нём работали — медленно, неправильно и в долг, но это был уже другой вид бедности.

Колокольчик парадной двери зазвонил трижды.

Не так, как звонил Каменец. Без ожидания между рывками.

Дуня поставила бельё на пол.

— Электрическое товарищество, наверное. Вчера посыльный приходил, пока опись шла. Сказал, отключат за долг.

— Вы кому-нибудь говорили?

Она побледнела.

— Я забыла.

— Теперь вспомнили. Значит, первое правило ещё действует.

У дверей ждали пятеро. Четверо в одинаковых тёмных куртках, пятый — в кожаном пальто с бляхой городского электрического товарищества. За спиной стояла тележка с ящиком, мотком провода и слишком чистыми изоляторами. Мужчина предъявил наряд на отключение восточного крыла

за просрочку. Печать выглядела настоящей.

— Кто вызвал? — спросил я.

— При отключении не вызывают, — ответил старший. —

Уведомление доставлено вчера.

— Вы отключаете с улицы или внутри?

— Ввод старый, запорный шкаф в доме.

Говорил он уверенно. Руки держал свободно, не лез в карман и не оглядывался. Хороший старший. Только на сапогах у него блестели стальные шляпки подковок. У остальных тоже. Настоящий мастер мог быть пьяницей и мошенником, но к открытому току не шёл в армейских сапогах. Для этого существовали резиновые галоши и желание дожить до расчёта.

Ещё у них были одинаково стёрты внешние края каблук. Не рабочая артель. Строй.

— Придётся подождать, — сказал я. — Мы как раз отключили крыло.

— Тем лучше.

— Хуже. Нож рубильника заело. Без истопника шкаф не откроем, истопник в подвале.

— Подождём.

— Чай будете?

Старший впервые посмотрел внимательнее.

— На службе не пьём.

За моей спиной Агафья Петровна шумно втянула воздух. Человек только что оскорбил не чай. Он оскорбил порядок природы.

— Пять минут, — сказал я. — Потом проведу.

Я закрыл внутреннюю дверь и повернул ключ. Не для них — для времени.

— Это не электрики, — тихо произнесла Вера.

— Почему?

— Вы предложили им чай.

— Именно.

Мы вернулись в восточный коридор. Говорить пришлось быстро, но не шёпотом: за двумя дверями и двадцатью шагами услышать нас не могли.

— Их пятеро, — сказал Семён. Лицо у него стало неподвижным. — Старший сорок лет, двое моложе, один припадает на правую, последний всё время держит руку у кармана. От входа до лестницы двадцать два шага. До чёрного выхода тридцать.

— Ток оставить выключенным. Степан, запорный шкаф открываете вы и только вы. Павел, закройте дверь в библиотеку и проход к башне. Дуня, принесите муку.

Агафья Петровна шагнула ко мне.

— Зачем муку?

— Посыпать заднюю лестницу.

— Последнюю?

— Сколько стоит?

— Четырнадцать копеек фунт.

— Похороны дороже.

Она смотрела секунду, затем сама пошла в кладовую.

— Поля, поставьте большой чайник. Кипяток не лить, пока не попытаются подняться по служебной лестнице.

Поля сглотнула.

— А если попытаются?

— Сначала предупредите.

— А потом?

— Они услышат ваш голос и примут разумное решение.

— А если нет?

— Тогда это будет их второе решение за день. Первое — прийти сюда.

Поля кивнула и убежала на кухню. Вера поймала меня за рукав.

— Что делать мне?

— Останетесь с Агафьей Петровной в кухне.

— Нет.

— Это не обсуждение.

— Тогда я переспросила один раз. Что делать мне?

— Не мешать.

Её лицо побелело.

— Вы ввели правила, чтобы всем было удобно выполнять ваши приказы?

— Чтобы никто не погиб из-за чужой гордости.

— Это мой дом. Вы собираетесь рисковать людьми моего дома, не спросив меня.

— Я спрашиваю каждого о его задаче.

— А дом спросили?

Над потолком тихо простучало. Один раз, потом два. Не шаги — будто дерево передавало звук вдоль балки.

Вера подняла голову.

— Он их боится. Не всех одинаково. Один уже бывал здесь.

Это могло быть её воображение, страх или тот самый Голос Дома, о котором она не хотела говорить. В любом случае отослать единственного человека, который слышал разницу, было бы не осторожностью, а упрямством.

— Хорошо. Стоите у поворота в западный коридор. Если дом изменит звук, говорите. В драку не лезете.

— А если...

— Один раз вы уже переспросили.

Она отпустила мой рукав.

— Приказ принят.

Семён открыл ящик, достал короткий сапёрный молоток и моток тонкой проволоки. Степан принёс треснувшую медную полосу. Вместе они соединили сигнальную жилу у дверной пластины; Семён намотал провод на гвоздь, натянул через коридор и велел не наступать. Старый знак под обоями отозвался слабым красным блеском. Павел запер библиотеку, но честно сообщил, что нижний шпингалет сгнил. Дуня рассыпала муку по трём верхним ступеням чёрной лестницы и поставила пустое ведро так, чтобы его нельзя было обойти молча. Агафья Петровна, увидев, как неровно легла мука, отобрала миску и поправила засаду сама.

— Если испачкают дорожку, мыть будут они, — сказала она.

В прихожую я вернулся один.

Старший стоял возле окна и рассматривал двор. Остальные молчали. Люди, которые действительно работают вместе, в ожидании ругают погоду, начальство и цену обеда. Эти берегли голоса.

— Прошу, — сказал я и открыл дверь во внутренний коридор.

Он улыбнулся.

— После вас, господин управляющий.

Он знал, кто я. Представиться я не успел.

До запорного шкафа мы дошли без происшествий. Степан Григорьевич ждал там с ключом и железным прутком для заевшего ножа. Семён изображал на стремянке мастера, занятого проводкой; получалось плохо — слишком прямо держал спину. Вера стояла дальше, за аркой, наполовину скрытая стеной.

Старший проверил шкаф, коснулся рукояти и спросил:

— Напряжение снято?

— Полностью, — ответил Степан.

— Дежурное осталось.

Семён посмотрел вниз.

— На этой модели дежурной линии нет.

Один из «мастеров» шагнул к стремянке. Старший едва заметно качнул головой, и тот остановился. Значит, начинать они не хотели. Им требовалось пройти глубже.

— Проверим распределение по дому, — сказал старший.

— В наряде восточное крыло, — напомнил я.

— Ввод общий.

— Шкаф перед вами.

Он понял, что спектакль закончен. Не испугался и не разозлился. Просто посмотрел через моё плечо в сторону западного коридора.

— Нам нужен один камень, Корнев. Не ваш, не её. Отойдите, и никто не пострадает.

— Какой камень?

— Не люблю, когда умный человек тратит время на глупость.

— Тогда не тратьте.

Старший ударил первым. Не кулаком — короткой дубинкой, выдернутой из рукава. Я успел подставить предплечье, отвёл удар к стене и толкнул его плечом в открытый шкаф. За спиной грохнула стремянка. Семён прыгнул не на ближайшего, а на второго: тот как раз доставал из сумки длинный чёрный клин.

Сигнальная пластина взвыла.

Звук вышел мерзкий, ржавый, зато громкий. В западной части дома хлопнула дверь. Павел запер проход.

Двое у входа бросились назад, один — вперёд. Степан встретил его железным прутом, не ударил, а поставил поперёк груди и навалился всем телом. Они врезались в стену. Посыпалась штукатурка.

Старший вывернулся из шкафа и ударил ещё раз, теперь снизу. Я отступил на полшага, дубинка прошла возле подбородка. Он двигался экономно. Никакой уличной ярости, никакой попытки доказать силу. Освободить проход, отрезать человека, продолжить задачу. Так учили не в электрическом товариществе.

Семён выбил клин молотком. Чёрный металл звякнул о камень пола. Второй нападавший поймал его за ворот и рванул вниз со стремянки. Семён упал на колено, ударил локтем в бедро, затем головой в грудь. Расстояния он назвал заранее и теперь использовал каждое.

— Запад! — крикнула Вера.

Я увидел, как пятый человек исчез за аркой. Он не пытался открыть библиотеку. Свернул к чёрной лестнице, о которой гость знать не должен.

Там опрокинулось ведро.

— Стойте! — крикнула Поля сверху. Голос сорвался, но не стал тише. — У меня кипяток!

Бегущий поднял голову, увидел девушку с большим медным чайником и всё-таки поставил ногу на первую ступень.

Поля плеснула кипяток не в него — на камень перед сапогом. Пар ударил вверх белым облаком. Мужчина отшат-

нулся. На верхних ступенях мука прилипла к его подошвам, и каждый следующий шаг отпечатался бы белым.

— Следующий раз выше! — предупредила Поля.

Он поверил. Я тоже.

Старший услышал крик и сменил движение. Два коротких удара в руку, третий — в колено. Именно так Павел Дружинин когда-то учил дружинников освобождать коридор: не валить противника, а лишить его желания преследовать. Двенадцать лет назад он этим приёмом вытащил меня из горящей галереи. Потом три месяца требовал вернуть сапоги, потерянные при спасении.

Почерк не менялся. Менялись только хозяева.

Я пропустил первый удар по касательной, второй принял на левое предплечье. Кисть сразу онемела. Третий не состоялся: я наступил старшему на носок и толкнул рукоять дубинки к его же груди. Он отступил, но выиграл достаточно времени. Тот, кого держал Степан, вывернулся и бросился не к выходу, а к стене между шкафом и западной аркой.

К белому камню.

До этого я его не видел. Снаружи была обычная панель тёмного дерева, исцарапанная на высоте плеча. Нападавший точно нашёл скрытую защёлку, сорвал планку и открыл узкую нишу. Внутри на уровне груди белел кусок камня размером с две ладони, перехваченный почерневшей медной сеткой.

— Не трогать! — крикнула Вера.

Дом загудел стенами. Под ногами прошла тяжёлая дрожь, словно далеко внизу захлопнули огромную печную заслонку. Нападавший поднял чёрный клин.

Мне не хватало двух шагов. Семён лежал между стремянкой и вторым человеком, Степан потерял прут, Павел не успевал из западного коридора. Оставалось сделать то, что я обещал себе не делать хотя бы до конца недели.

Я раскрыл Дар Меры.

Мир не стал яснее. Наоборот, лишнее исчезло: лица, шум, боль в руке, даже цвет. Остались направления нагрузки. Белый камень держал не эту стену. Он тянулся вниз, в фундамент, и в стороны, к воротам, лестнице, печам, десяткам мест, которых я не видел. Чёрный клин был сделан так, чтобы не разбить связь, а подцепить её и выдернуть вместе с носителем. Удар шёл под углом. Плохо рассчитанным — на толщину пальца, не больше.

Я поймал эту ошибку.

Правая ладонь легла на локоть нападавшего. Даром я не прибавил себе силы. Только сдвинул направление, заставил его собственное движение пройти мимо центра. Клин ударил в медную сетку у края. Белая искра обожгла стену, импульс ушёл в панель, оттуда в пол и выбил три паркетины.

Левую руку свело до плеча. В ухе зазвенело. Коридор накренился, хотя дом стоял ровно.

Вера успела схватить меня за ворот и удержала от падения.

— Это вы называете не рисковать собой?

— Своей жизнью разрешил распоряжаться в пределах здравого смысла.

— Где он у вас?

— Временно отсутствует.

Нападавший снова потянулся к клину. Семён поднялся с пола и ударил его молотком по запястью. Кость не сломалась — по звуку я бы понял, — но пальцы разжались.

Старший свистнул. Один короткий, один длинный.

Отступление.

Люди у выхода рванули дверь на себя. Дуня успела опустить верхний засов, но не нижний — тот заедал, и об этой поломке она знала давно. Дерево дрогнуло. Со второй попытки засов вылетел вместе с куском косяка. Двое выскочили во двор. Третий швырнул на пол стеклянный шарик.

Семён заорал:

— Глаза!

Я отвернулся. Вспышка всё равно прошла веки красным. Запахло горелым сахаром, коридор наполнился густым серым дымом. Кто-то закашлялся, Агафья выругалась из кухни так, что дым, вероятно, пожалел о появлении.

Старший прошёл мимо меня почти вплотную. Я схватил его за кожаное пальто, но левая рука не держала, а правой пришлось опираться о стену. Он вырвал полу, оставив пуговицу.

— Павел Степанович передавал поклон, — сказал он из

дыма.

Потом в прихожей хлопнула дверь.

Мы не преследовали. На улице их могли ждать люди, а в доме оставались Вера, раненый Герасим и четыре непроверенных прохода. Человек, бросающий защищённое место ради спины противника, обычно получает эту спину вместе с ножом.

Дым вытянуло через разбитое окно за несколько минут. В коридоре остались мука, кровь на штукатурке, три выломанные паркетины, чёрный клин и люди, которые смотрели друг на друга так, словно познакомились только сейчас.

Поля всё ещё стояла на лестнице с чайником.

— Я не попала, — сказала она.

— Вы не целились, — ответил я.

— Он бы полез — попала.

— Верю.

Она осторожно поставила чайник на ступеньку. Руки задрожали только после этого.

Вера отпустила мой ворот. На её ладони осталась кровь — не моя. У одного из нападавших была рассечена бровь, и он задел стену возле неё.

— Вы ранены? — спросил я.

— Нет.

— Уверены?

— Это первый вопрос или второй?

— Первый.

Она быстро проверила рукава и платье, словно только теперь вспомнила о собственном теле.

— Не ранена. Вы?

— Неприятно жив.

— Это не ответ.

— Значит, правила работают.

Семён сидел на полу, прислонившись к стене. Из разбитой губы текла кровь, правая кисть опухала, но пальцы двигались. Все три.

— Двадцать два шага, — сказал он, глядя на меня. — Я предупреждал.

— Ты ещё не дошёл до двадцать второго.

— Поэтому и проиграли.

— Камень у нас.

— Тогда они проиграли хуже.

Степан нашёл прут и начал поднимать паркетины. Павел пришёл из западного коридора с верёвкой в руках и таким лицом, будто лично подвёл дом.

— Библиотечная дверь выдержала, — сообщил он. — Я там ждал.

— Поэтому они туда не прошли.

— Я никого не ударил.

— Вы закрыли проход. В драке это иногда полезнее.

Агафья Петровна появилась с чистыми полотенцами, тазом воды и выражением человека, который откладывает убийство до окончания уборки. Сначала вытерла лицо Вере,

хотя та возмутилась, потом сунула полотенце Семёну, осмотрела Степана и только после этого подошла ко мне.

— Перчатку снимайте.

— Не надо.

— Это вы мне приказали сообщать о поломках.

Пришлось снять. Левая кисть побелела, пальцы скрючились и не отзывались. Агафья ничего не сказала, только завернула руку в тёплое полотенце. От её молчания стало хуже, чем от ругани.

Дуня стояла возле выломанного косяка.

— Нижний засов заедает с Рождества, — произнесла она.

— Я его маслом смазывала. Иногда закрывался.

— Почему не сказали?

— Аркадий Михайлович тогда болел. Потом Лев Борисович велел не тревожить по пустякам. А потом... привыкли.

Я посмотрел на дыру, из которой вырвало железо.

— Первое правило хозяйства не в том, что всё нужно немедленно починить. Денег на это не хватит никогда. Оно в том, что человек рядом должен знать, на что нельзя опереться.

Дуня кивнула, вытерла щеку рукавом и ушла за веником.

— Я останусь, — сказал Семён.

— Тебя никто не отпускал.

— Условия вчерашние?

— Сегодняшние. Еда, койка в каретнике, запись жалованья в долг и доля в общей трети с сегодняшнего дня. За

это укрепляешь кровлю, оживляешь сигналы и учишь их не вставать впятером в одном коридоре.

— Тебя тоже?

— Я безнадежен. Начни с остальных.

Вера присела перед ним, чтобы говорить не сверху.

— Старый долг людей останется первым, Семён Ильич. Ваш счёт начинается сегодня.

Он вытер кровь с бороды и кивнул.

Так дом нанял седьмого человека — того, кто умел считать расстояние до беды.

Белый камень оставался в нише. После удара по краю на нём возникла тонкая серая черта, но медная сетка держала. Вера подошла ближе и положила ладонь на деревянную панель, не касаясь самого камня.

— Он тёплый, — сказала она. — И сердится.

— На нас?

Она прислушалась. В коридоре все невольно замолчали.

— На то, что мы шумим рядом и ничего не понимаем.

— Разумное чувство.

Семён поднял чёрный клин двумя пальцами. На плоской стороне был выбит маленький знак — три расходящиеся полосы.

— Полевой съёмник, — сказал он. — Такими вытаскивают носитель из разрушенного укрепления, не гася контур. В лавке не купишь.

Я знал знак. Снаряжение дружины Дружинина всегда ме-

тили тремя лучами, чтобы в темноте не спутать с обычным сапёрным инструментом. Когда-то Павел Степанович объяснял, что вещь без метки рано или поздно присвоит штаб. Теперь штаб у него был другой.

— Откуда они знали место? — спросила Вера.

Кто-то дал им план или водил раньше. Называть Каменца из-за слишком белых манжет означало бы превратить подозрение в удобную ложь.

— Выясним, — сказал я. — Сначала закроем нишу.

Панель не вставала на место. От удара нижнюю планку повело, и за камнем открылась щель. Павел принёс тонкий крюк, подцепил изнутри обгоревшую ткань и потянул. Вместе с тканью выпал сложенный вчетверо лист, почерневший по краям.

Вера нагнулась первой.

— Это из книги.

Бумага была плотнее обычной, разграфленная красными линиями. На лицевой стороне сохранились даты, суммы и подписи. Огонь съел верхний угол, но середина читалась. Аркадий отмечал выплаты по первоначальной закладной: месяц за месяцем, без пропусков. Остаток снижался. Тридцать три тысячи. Тридцать две восемьсот. Тридцать две сто. Последняя целая строка — тридцать одна тысяча с отметкой прежнего банка о принятом платеже.

Ниже другим почерком было выведено: **«Обязательство передано Северному кредитному обществу. Произве-**

дено объединение расходов».

После этой строки долг перестал уменьшаться. На обгоревшем поле виднелись приписанные комиссии, охрана, осмотры и платежи без оснований. Крайняя сумма сохранилась не полностью, но первых двух цифр хватало: пять и два.

— Отец платил, — сказала Вера.

— Основной долг — да.

— Лев Борисович говорил, что он запутался в расходах.

— Он и запутался. Вопрос — кто держал верёвку.

Я отнёс лист в кабинет. Вера пошла следом. Остальные остались чинить дверь, мыть муку и спорить, кому принадлежит кровь на стене. После опасности работа полезнее воспоминаний о страхе.

За окнами уже начинался третий день, когда мы положили обгоревший лист рядом с книгами Каменца. Даты совпадали, суммы — нет. В текущем журнале платежи Аркадия уходили не в уменьшение долга, а в «обеспечительные расходы». Кто-то переписал назначение задним числом: без подчисток, новой книгой, правильными чернилами. Старый лист не был доказательством для суда, но показывал, где искать подлинники.

Вера стояла у стола, упираясь в край обеими руками.

— Если мы докажем подмену, долг исчезнет?

— Нет. Тридцать одна тысяча была настоящей. Исчезнуть может то, чторосло сверху.

— Тогда девять тысяч?

— Всё ещё нужны через двадцать семь дней. Пока суд разберёт бумаги, дом успеют продать дважды и один раз торжественно освятить.

Она закрыла глаза. Всего на мгновение. Потом выпрямилась.

— Значит, зарабатываем девять тысяч и отдельно доказываем подмену.

— Именно.

— Я снова сказала очевидное?

— Сегодня очевидное уже один раз спасло нам дверь. Не пренебрегайте.

Я перевернул обгоревший лист. Обратная сторона почти вся была чёрной. Под слоем копоти проступали три строки, написанные карандашом. Почерк Аркадия я узнал сразу — тяжёлые буквы, сильный нажим, последняя строка неизменно уходила вверх, как рапорт человека, который не согласен даже с полями.

Вера прочла раньше меня.

Лицо у неё не изменилось. Только отцовская булавка дрогнула у горла, когда она вдохнула.

«Если Роман жив, не верьте ему сразу».

Глава 4. Комната, которой нет

Вера перечитала записку трижды. Не потому, что не поняла с первого раза. Ей требовалось время, чтобы решить, кого обвинить первым, а я стоял ближе покойного отца и пропавшего брата.

— Вы знали?

В кабинете пахло гарью от листа, мокрой штукатуркой из разломанной стены и полотенцем, которым Агафья Петровна обернула мне левую кисть. Полотенце остывало, пальцы под ним не чувствовали ничего. На полу за дверью Семён с Павлом ставили временную планку вместо выбитого засова; молоток попадал по гвоздям через раз, и каждое попадание отдавалось в столе. Вера стояла напротив. Отцовскую булавку у горла она уже не трогала. Это было хуже. Когда она сердилась просто, булавка ходила под пальцами вверх-вниз.

— О чём именно?

— Не отвечайте вопросом.

— Тогда придётся перечислить. Я знал, что Роман Аркадьевич признан погибшим три года назад. Знал, что ваш отец не поверил в его смерть сразу и потратил деньги на поиски. Сколько — не знаю. Аркадий не писал мне о сыне с прошлой зимы. Об этой записке я узнал вместе с вами.

— А о том, что брат может быть жив?

— Нет.

Она поднесла обгоревший лист к лампе, хотя света хватало. Край осыпался на стол чёрными крошками.

— Вы всё утро говорите, что бумаге нужны доказательства. Вот они. Его почерк.

— Это доказательство того, что ваш отец сомневался.

— Он написал «если жив», а не «если окажется жив». Значит, что-то знал.

— Или надеялся. Или боялся. Аркадий иногда писал себе приказы, когда не мог приказать обстоятельствам.

— Очень удобно. Для каждого слова можно найти три объяснения и ни одного ответа.

Снаружи Семён выругался. Гвоздь, судя по звуку, ушёл в пол. Павел сказал, что так тоже крепче, получил предложение самому спать поперёк двери и замолчал. Я снял полотенце. Кисть оставалась чужой, только у основания большого пальца появилась тупая боль — сообщение от нервов, дошедшее с опозданием.

— Ответа у меня нет, — сказал я. — Если хотите, могу придумать. Обычно людям становится легче минуты на две.

Вера положила лист. Не бросила, хотя хотела.

— Каким был Роман?

Вопрос застал меня хуже обвинения.

— Вы спрашиваете меня?

— Отец рассказывал о нём вам. Мне — нет. После исчезновения в доме стало нельзя произносить его имя слишком часто. Мама умерла раньше, Агафья Петровна помнит его

мальчиком и потому вспоминает только, как он рвал штаны и воровал варенье. Герасим Фомич считает, что Роман был последним настоящим Белогорьевым, но при этом зовёт настоящими всех, кто умел держаться в седле. Я знаю брата лучше по чужому молчанию, чем по нему самому.

Она села, но не на стул рядом со мной, где работала ночью, а на подоконник. За стеклом двор приводил себя в порядок после драки: дождь смывал муку с сапожных следов, Дуня собирала щепки от косяка, Поля тащила обратно на кухню остывший чайник и оглядывалась на ворота так часто, что дважды наступила в одну лужу.

— Аркадий говорил, что Роман легко нравился людям, — ответил я. — Ему это не нравилось.

— Отцу?

— Аркадию не нравилось всё, что давалось без подготовки и приказа. Сын, кажется, относился к таким вещам. Он поступил в дипломатическую службу, потом числился при комиссии по делам великих домов. Ваш отец называл комиссию клубом людей, которые учатся улыбаться до того, как решат, сколько с вас взять.

— Роман тоже улыбался?

— На единственной фотографии, которую мне показывали.

— Вы с ним не встречались.

— Один раз. Вам было лет девять, ему семнадцать. Он приехал к отцу в лагерь на два дня, проиграл поручику Став-

рову тридцать рублей, выиграл обратно лошадь и уехал, не расплатившись за постой. Аркадий потом месяц утверждал, что мальчик безнадёжен, а фотографию держал в полевом сейфе.

Вера отвернулась к окну. Угол рта у неё дрогнул — не улыбка, скорее боль наткнулась на что-то смешное и не решилась, можно ли останавливаться.

— Он терпеть не мог лошадей, — сказала она. — После того случая его едва не сбросили в канаву.

— Значит, выиграл из принципа. Это семейное.

— И вы советуете ему не верить.

— Советует ваш отец. Я пока советую не превращать одну строку в живого человека. Особенно удобного: вернувшегося, виноватого или невиновного ровно настолько, насколько нам сейчас хочется.

Она открыла рот, но в стене за книжным шкафом что-то коротко царапнуло. Не мышь. Звук прошёл по штукатурке сверху вниз, остановился у плинтуса и повторился в другой стене. Вера соскочила с подоконника.

— Он зовёт.

— Дом?

— Не знаю. Здесь всё утро будто кто-то... — Она повела ладонью перед собой, подбирая не слово, а ощущение. — Тянет нитку и отпускает. После камня стало сильнее. Вы разве не чувствуете?

Я чувствовал несколько вещей: боль под лопаткой, хо-

лод от окна, перекошенную нагрузку в западной части дома и острую необходимость поспать хотя бы час. Последняя не имела магической природы, поэтому выглядела наименее опасной.

— Чувствую, куда уходит напряжение от белого камня.

— В башню.

— Да.

— Тогда идём.

— Сначала вы расскажете, что знаете о лестнице.

— Вы уже поднимались.

— Я уже пытался. Это разные занятия.

Она помолчала. В коридоре перестали стучать. Семён появился в двери с молотком за поясом и вырванным гвоздём в зубах. Губа у него распухла, рыжая борода с одного края была темнее от крови.

— Планка держит, — сообщил он, вынув гвоздь. — Если не открывать.

— Очень удобная дверь.

— За настоящую нужен дуб, железо и человек, которому заплатят. Мы нашли только гвозди. Что с рукой?

— Мешает симметрии.

Семён посмотрел на побелевшие пальцы, затем на меня. Шутку он услышал, но принимать отказался.

— В башню собрался?

— Почему решил?

— У тебя лицо стало служебное. Такое бывало перед мо-

стом, который уже трещал, а начальство ещё выбирало эпитеты для донесения.

— Возьмёшь моток шнура, два фонаря, мел, маленькое зеркало и тот полевой съёмник.

— Съёмник зачем?

— Чтобы не оставлять в коридоре. У нас нижний засов временный, а люди Дружинина умеют возвращаться.

— Логично. Я с вами.

— До нижней площадки.

— Это расстояние или доверие?

— Оба.

Он провёл языком по разбитой губе и скривился.

— Руку ты не чувствуешь, лестница ходит кругом, барышня слышит дерево, а лишним оказался сапёр.

— Ты останешься у входа и будешь считать время. Если мы не вернёмся через четверть часа, тянешь шнур. Если шнур не идёт — зовёшь Степана, запираешь лестницу и не лезешь следом.

— Это против третьего правила. Я переспросил, ответа не понравилось.

— Тогда отказывайся.

Семён не ответил. Нагнулся, поднял с пола кусок щепы, попробовал его ногтем и выбросил во двор.

— Двадцать минут, — сказал он. — За четверть часа вы только выясните, что первый поворот ведёт к первому повороту.

— Восемнадцать.

— Девятнадцать. И беру лом.

— Договорились.

Вера следила за нами, нахмурившись.

— Вы всегда так исполняли приказы?

— Нет, — сказал Семён. — Раньше он был моложе и спорил дольше.

Агафья Петровна нашла нас возле кухни, когда Семён укладывал в ящик мел, шнур и ручное зеркало из комнаты Дуни. Зеркало было овальным, с тёмным пятном по краю и одной трещиной, которая делила отражение по подбородку. Дуня отдавала его неохотно и потребовала не смотреться всем сразу: серебрение после этого якобы осыпалось. Семён обещал смотреться по одному. Меня экономка осмотрела с тем выражением, какое оставляла для сырого мяса и непродуманных решений.

— Куда?

— Западная башня.

— Нет.

— Это не вопрос.

— Поэтому и ответ короткий. Вы после двери на ногах стоите из упрямства. Вера Аркадьевна не спала, Семён Ильич похож на человека, которого жевали, а наверху три месяца кто-то скребётся чужими голосами. Идите после завтрака.

— Сейчас половина шестого.

— После обеда тогда. Мне всё равно, как называется еда, которую вы пропускаете.

Вера взяла со стола ломоть хлеба, откусила и, не прожевав, посмотрела на экономку.

— Вот.

— Это не завтрак. Это неприличие.

— В башне личный архив отца.

Агафья перестала поправлять косынку Поле. Всего на секунду.

— Кто сказал?

— Дом.

— Дом много чего делает. На прошлой неделе он спрятал мои ножницы в сахарнице.

— Агафья Петровна, — тихо произнесла Вера.

Экономка подошла ближе, вытерла большим пальцем хлебную крошку у неё с губы и взяла нож. Отрезала ещё два ломтя, между ними положила холодное мясо, завернула в чистую салфетку и сунула свёрток Вере.

— Если он опять начнёт водить кругами, не слушайте, что скажет голос сверху. Даже если голос будет его.

— Вы слышали отца?

Нож лёг на доску чуть громче необходимого.

— Я слышала хозяина дома, который три недели как лежал на Смоленском кладбище. Он спросил, отчего на площадке сняли зеркало. Голос был его. Только Аркадий Михайлович никогда не говорил «отчего». Он говорил «какого

чёрта».

В кухне никто не улыбнулся.

— Когда? — спросил я.

— После похорон. Один раз. Потом по ночам стучало.

— Почему не сказали?

Она уставилась на лист с первым правилом, прибитый возле двери. От дождя или сырости бумага завернулась по углам.

— Потому что вы тогда ещё не пришли со своими правилами, Матвей Сергеевич. А у нас хватало живых, которых надо было кормить.

Справедливый ответ редко бывает приятным. Я взял фонарь.

— Если услышите нас на кухне раньше, чем мы спустимся по лестнице, не отвечайте.

— А если попросите открыть?

— Особенно не отвечайте.

Поля перекрестилась. Агафья Петровна сняла со связки кожаную бирку «ЗАП. БАШ.» вместе с ключом и отдала Верре, не мне.

— Отец дал его вам? — спросила та.

— Нет. Велел выбросить. Я не исполнила.

— Почему?

— Дорогая была бирка.

Экономка отвернулась к плите. Разговор закончился.



У западной лестницы пахло влажным ковром, табаком и свежей мукой. Последнее осталось на наших сапогах после утренней драки и портило таинственность, что я счёл полезным.

Павел убрал заграждавший проход шкаф, но не утащил далеко. За нижней площадкой ждала обычная лестница: двенадцать ступеней до окна, тёмные перила, чистый прямоугольник на обоях, четыре крюка от большого зеркала. Выше поворот прятал третий этаж и дверь башенки. Если смотреть снизу, расстояние не обманывало. До двери требовалось ещё два пролёта, примерно тридцать пять ступеней. Вчера лестница вернула нас после двадцать третьей.

Семён привязал шнур к нижнему столбу и остался считать время. На первый крюк мы повесили маленькое Дунино зеркало. Большое, прежде висевшее здесь, было опечатано вместе с гостинной; без него лестница не помнила, где кончается путь. Маленькое отразило окно, Верино плечо и Семёна, стоявшего к нам спиной. Настоящий Семён смотрел вверх.

— Если зеркало заговорит, я увольняюсь, — сказал он.

— Сначала вернёшь его Дуне.

Мы поднялись до площадки. На двенадцатой ступени я пометил перила мелом. Шнур полз следом и честно шуршал по ковру, а отражённый Семён остался наверху, хотя зеркало

висело вниз. Я снял его и положил стеклом к стене.

— Дом не хочет, чтобы мы шли, — сказала Вера. — Он боится.

— Нас?

— Не разберу. Здесь страх смешан с отцом.

Белый камень после удара тянул в эту сторону. Под моей ладонью нижний столб мелко дрожал, будто кто-то далеко перебирал натянутую струну. Я велел Вере не отделять память от того, что она слышит сейчас. Она раздражённо ответила, что это удобно советовать человеку, у которого нет Голоса Дома, и пошла выше.

После поворота я ставил мелом черту на каждой пятой ступени. На семнадцатой отметка с пятнадцатой оказалась над нашими головами, дверь башни приблизилась, но шнур ушёл не вниз, а в стену. Я велел Вере закрыть глаза и слушать то, что дом подсовывает вместо лестницы.

— Отец запирает кабинет и ходил внутри, — сказала она. — Я сидела снаружи.

— Что там неправильно?

Она нахмурилась. Шнур за нашей спиной лёг на ступени слишком тихо. Снизу больше не доносилось дыхание Семёна, хотя обычно его было слышно даже через стену.

— Дверь, — сказала Вера. — Отец запирает дверь, но звук шёл не из кабинета. Я думала, он ходит за ней. Он ходил рядом.

Я посмотрел не вверх, а на стену возле её плеча. Обоим

там были одинаковыми: выцветшие бурые цветы, стык полотнищ, царапина от мебели. Только нагрузка шла странно. Обычная стена принимала вес площадки сверху. Эта отдавала часть вбок, в пустоту шириной примерно три аршина.

Дар Меры отозвался болью раньше, чем я позволил ему раскрыться.

— Матвей Сергеевич?

— Стойте.

Линии проявились не глазами. Левая сторона мира потяжелела, как при сильном крене. Ступень под правой ногой держала нас, под левой — делала вид. За обоями не было кладки на всю ширину. Там начинался узкий карман пространства, прижатый к лестнице чужим усилием. Кто-то сдвинул не стену. Он переложил её износ и вес на соседние ступени, заставив дом считать помещение отсутствующим.

Я провёл мелом по стыку обоев. На середине рука ушла глубже, будто поверхность отступила на палец. Боль под лопаткой ударила в шею. Перед глазами поплыли тёмные точки.

— Здесь.

Вера открыла глаза.

— Здесь стена.

— Для нас.

— А для дома?

— Рана, которую велели не замечать.

Фраза прозвучала слишком уверенно. Я ещё не знал, ра-

на это или повязка. Но Вера приложила ладонь к стыку, и дом под нами дёрнулся. Не вздрогнул — именно дёрнулся, коротко и сердито. Снизу донёлся голос Семёна:

— Девятнадцать минут!

Голос пришёл сверху.

Вера вскинула голову. Над нами, за поворотом, стоял Семён. Тот же котелок, разбитая губа, лом в правой руке. Шнур уходил от его пояса вверх, к двери башни.

— Вы долго, — сказал он. — Я поднялся.

Настоящий шнур лежал у моих ног и уходил вниз.

— Какой мост ты бросил? — спросил я.

Он усмехнулся.

— Опять начинаешь?

— Название.

— Не время.

— Вот и ответ.

Человек наверху шагнул к нам. Вера прижалась плечом к стене. Лица у него не менялось, но движения запаздывали: каблук ещё стоял, а тень уже легла на следующую ступень.

Я не стал проверять, что произойдёт, если оно подойдёт. Схватил Веру за запястье правой рукой и толкнул её ладонь в стык обоев.

— Скажите дому открыть.

— Он не слушает приказов.

— Тогда попросите как умеете.

Семён сверху спустился ещё на ступень. От него пахло

не кровью и сыростью, а пылью закрытой комнаты.

Вера закрыла глаза. Пальцы у неё дрожали. Она не произнесла имени дома, не стала уговаривать. Прижалась лбом к обоям и сказала совсем тихо:

— Я всё равно узнаю. Но не отдам им.

Стена ушла у неё из-под ладони.

Мы провалились в темноту.

Мы упали на ковёр, сломали ящик с бумагами и погасили фонарь — приличная цена за вход. Когда Вера снова зажгла фитиль, за спиной уже стояла глухая деревянная панель. Шнур исчезал в ней без отверстия. Я подал условный сигнал; снаружи ответили так сильно, что волокна впились мне в ладонь. Настоящий Семён злился убедительно.

Комната занимала не больше четырёх аршин, не имела окна и всё же не помещалась между лестницей и наружной стеной. Шкафы с мелкими ящиками доходили до потолка. На стене висела исколотая булавами карта Петербурга, а широкий стол держал рабочую модель города: деревянные кварталы, мутное стекло, белые камни и медные жилы между маленькими коробочками домов. Часть жил оборвалась и торчала, как сухие корни.

— Кабинет отца, — сказала Вера, заметив ножевые зарубки в углу стола. Аркадий оставлял такие на полевой мебели, когда встречал сумму, рядом с которой нельзя было писать при ординарце.

Балки над нами шли поперёк настоящего дома. Эту ком-

нату не построили в башне — её удерживали возле башни, словно карман с изнанки мундира. Кто-то платил за это износом лестницы.

На подлокотнике кресла лежала трубка Аркадия, а под ней — перечень из четырнадцати адресов. Дом Белогорьевых, рынок, пожарная часть, типография Гольд, мастерские и усадьбы. Возле каждого Аркадий записал долг, дату перехода закладной и состояние очага. Пометка «после передачи СКО» повторялась девять раз.

Адреса совпали с коробочками на модели. Из усадьбы Белогорьевых расходились четыре медные жилы; одна вела к рынку, другая к гавани. Белый камень в стене обозначался малой копией величиной с ноготь, но в модели осталось только пустое гнездо. Деталь вынули аккуратно, раскрутив скобы.

Поверх старых линий кто-то протянул чёрную нить от потемневших домов к пустому гнезду. Я коснулся её карандашом. Деревянный квартал рядом треснул, а нить посветлела.

— Перенос износа, — сказал я. — Нить разгрузили в дерево. С настоящими домами можно сделать то же, если есть связь.

В походах Дар переносил жар котла в плиту, усталость копей — в сбрую. Плита лопалась, ремни сгнивали. Долг подходил для связи лучше ремня: обе стороны признавали, что он существует, даже если одна не читала мелкий шрифт.

Перед глазами поплыли тёмные точки. Вера усадила меня

в кресло, собрала рассыпанные бумаги и спросила, почему правило о скрытых поломках не касается моей руки. Ответить было нечем. Шнур тем временем заходил в панели ходунком: Семён исчерпал терпение.

Нижний ящик стола посерел и сгнил так, будто принял на себя старость всей комнаты. Верхние оставались крепкими. Я постучал по ручке; внутри звякнуло стекло.

— Комнату прячут за его счёт и за счёт лестницы.

— Отец это сделал?

— Может быть.

— Опять.

— Что?

— «Может быть», «не знаю», «проверим». Вы когда-нибудь отвечаете сразу?

— Когда уверен. В основном на вопрос, болит ли у меня спина.

На связке Веры нашёлся маленький плоский ключ без бирки. Он вошёл в сгнивший замок. Я попросил подождать, она напомнила про двадцать минут и повернула ключ. Ящик открылся с тяжёлым щелчком, от которого задребезжала модель.

Комната вспомнила.

Фонарь продолжал гореть, но свет из него исчез. Пахнуло морозом и дорогим одеколоном; кресло под рукой стало тёплым. В треснувшем стекле над моделью возникли два отражения. Аркадия я узнал по плечам и расстёгнутому левому

рукаву. Напротив стоял высокий мужчина в светлом сюртуке. От него уцелели перстень, серебряная цепочка и воротник; лицо было стёрто мутным пятном.

— ...называете восстановлением, — донёсся голос Аркадия не из комнаты, а из дерева под ногами. — Я называю выемкой. После каждой вашей закладной дом держится хуже, соседний — лучше. Ненадолго.

Ответ пришёл из шкафа:

— Соседний приносит пользу городу. Ваши старики держат пустые комнаты, пустые титулы и требуют благодарности за то, что стены ещё не упали.

— Вы переносите износ.

— Я распределяю нагрузку.

— На тех, кто не читал мелкий шрифт.

— Они читали сумму.

— Роман добрался до вашего реестра.

Второе отражение не двинулось. Только серебряная цепочка качнулась.

— Ваш сын погиб три года назад.

— Тогда вам нечего бояться.

— Мне? Нечего. А вам стоило бы подумать о дочери.

Аркадий ударил ладонью по столу.

— Не произносите её в этой комнате, Резанов.

Пламя снова стало жёлтым. На стекле остались мы с Верой, разрезанные трещинами. Маленький ключ вдавился ей в ладонь.

Я вытащил ящик до конца.

Внутри лежали три предмета: оплавленная измерительная пластинка, чёрная тетрадь и бархатный футляр с углублением для карманных часов. Часов не было. На светлой ткани отпечатался круг, возле заводной головки — тёмная полоска, похожая на след ожога. Под футляром лежала карточка:

«Полковнику А. М. Белогорьеву в знак согласия, которое ещё послужит городу. А. П. Р.»

— Подарок, — сказал я.

— Князь Резанов прислал отцу часы. После того разговора.

— Когда?

— Не знаю. В феврале. Или в конце января.

— Вера Аркадьевна?

Она положила ключ в ящик, промахнулась и попробовала снова.

— В ночь перед смертью отца дом разбудил меня.

— Не стуком, — продолжила она. — Я слышала... не слова. Вы всё время спрашиваете, что именно я слышу, а я не умею сказать. Будто все двери сразу поняли, что одну из них открыли не туда. В комнате отца били часы. Те самые. Они били без четверти четыре, потом четыре, потом опять без четверти. А стены... стены хотели, чтобы я вошла и забрала их.

— Вы видели часы?

— Днём. Отец носил их в жилетном кармане. Сказал, по-

дарок примирения, ничего важного. Я ответила, что дом их не любит. Он рассердился. Спросил, недостаточно ли в доме одной женщины, которая слышит дурное от мебели. Он говорил о маме.

— Ночью я дошла до его двери. Внутри он ходил. Потом что-то упало. Дом кричал так, что у меня заболели зубы. Я могла позвать Агафью. Герасима. Доктора из соседнего дома. Могла войти. Но отец вечером посмотрел на меня как на больную, и я... вернулась к себе. Закрыла дверь. Утром его нашли в кабинете. Часы исчезли. Лев Борисович сказал, наверное, доктор взял, потом никто не спрашивал.

Я разозлился. Сначала на неё — живого всегда проще обвинить. Потом на Аркадия, которому хватило ума спрятать модель города, но не хватило терпения выслушать дочь.

— Скажите, что я не виновата, — произнесла Вера.

— Не скажу.

— Я не был в том коридоре. Не знаю, успел бы доктор. Не знаю, хотел ли дом предупредить об убийстве или уже чувствовал, что Аркадий умирает. Если я сейчас вас оправдаю, это будет такая же придуманная уверенность, за которую вы злитесь на меня с утра.

— Значит, я могла спасти его.

— Могли. И могли прибежать только затем, чтобы увидеть смерть раньше остальных.

— Для вас — большая разница, — сказал я. — Для того, что мы будем делать сейчас, меньше. Тогда вы испугались.

Если спрячете это снова, страх уже не получится обвинить во всём.

Вера закрыла футляр, смяла угол карточки, выругалась шёпотом и долго расправляла картон ногтем.

— Я расскажу всё. Надзору, суду, кому потребуется.

— Сначала запишете. Собственными словами. Без Льва Борисовича.

— Лев собирал вещи после смерти, — напомнила она.

— Поэтому спросим его о часах. Не будем дарить ему готовое обвинение вместо ответа.

Семён ударил ломом. Шкафы ответили мелкой дрожью. Мы собрали чёрную тетрадь, футляр, список и две пачки писем; остальной архив пришлось оставить.

Вера прижала ладонь к панели, но дом не открыл. Я снова коснулся Дара. На этот раз боль свалила меня на колено. Комнату держал не только чужой перенос: Аркадий приучил Деда прятать архив от людей, которым не доверял. После его смерти привычка осталась без хозяина.

— Ладонь к пустому гнезду, вторую на стену, — сказал я.

— Что говорить?

— Что-нибудь ваше.

Вера втиснулась между столом и панелью.

— Дед. Отец умер, Роман пропал, я осталась. Бумаги нужны мне. Открой.

Тишина затянулась.

— Пожалуйста.

Под полом стукнули. Пустое гнездо нагрелось, ближайшая ступень за стеной треснула, а панель стала серой и прозрачной. За ней проступил настоящий Семён — злой, пыльный, с ломом в руках.

— Отойди, — повторил я.

— Уже отошёл.

— Ты стоишь внутри стены.

Он выругался и отступил. Сначала вышла Вера; булавка у её горла на миг вспыхнула белым. Потом мы протолкнули бумаги и сломанный ящик, в который согнали старость комнаты. Когда выбрался я, ступени просели и панель снова отвердела.

— Двадцать шесть минут, — сказал Семён. — Последние семь я бил человека в моих сапогах. Лом проходил насквозь. Неприятный собеседник.

На спуске лестница ещё раз попыталась вернуть нас к пустому прямоугольнику. Ящик зацепился за перила, Вера положила ладонь на стену и устало сказала: «Не надо». Дом подчинился. Внизу маленькое зеркало ничего не отражало, и Дуня немедленно объявила, что вычтет его с Семёна отдельным долгом. Из кухни звенела посуда — неровно, громко, по-человечески.

Архив занял в кабинете весь пол, половину стола и один

стул, на который никто не садился из уважения к неразобраным бумагам. Агафья принесла горячую воду для моей руки, потом увидела пустой футляр от часов и забыла сказать, что думает о повторном применении Дара. Это случилось с ней редко.

— Я видела их, — сказала она.

Вера стояла у окна. После лестницы она умылась и смешила порванную у колена юбку, но пыль осталась в волосах. Чёрную тетрадь держала прижатой к животу.

— Когда? — спросил я.

— За неделю до смерти Аркадия Михайловича. Серебряные, с крышкой. Он не любил карманные часы — говорил, у часов на цепочке человек сам на цепочке. Но эти носил. На крышке был герб.

— Чей?

— Не наш. Птица какая-то.

— Двуглавый орёл?

— Я государственный герб отличу, Матвей Сергеевич. Птица с длинным клювом, держала в лапах кольцо.

Родовой знак Резановых я знал по бумагам: цапля над разорванной цепью. Кольцо Агафья могла принять за звено.

— После смерти часы нашли?

— Нет. Я одевала его к погребению. Карманы были пустые. Лев Борисович собирал бумаги из кабинета раньше, чем меня впустили.

Вера повернулась.

— Вы не говорили.

— О часах? В тот день из дома вынесли врача, священника, вашего отца и половину белья в стирку. Я не считала подарок князя важнее тела.

— Лев знал, что это подарок?

— Всякий раз, когда в дом приезжала дорогая коробка, Лев Борисович первым находил для неё графу.

Я записал описание часов правой рукой. Буквы полезли одна на другую. Вера молча забрала карандаш и переписала разборчиво: серебро, крышка с цаплей, цепочка, получены в конце зимы, отсутствовали после смерти. Ни одного вывода. Она училась быстро, когда знала цену ошибки.

Семён тем временем разложил на подоконнике оплавленную измерительную пластинку и чёрную нить, которую мы отрезали от модели. Пластинка была армейского образца, только шкалу сточили. Он прогрел край над свечой, поднёс к нити. Металл покрылся изморозью.

— Перенос, — сказал он. — Не видел такой чистоты. Наша полевая работа грубее: разгрузить одну балку, добить другую, пока люди выйдут. Здесь можно месяцами тянуть понемногу.

— Сколько домов?

— По этой сопле не скажу. По модели — много. Там вся сеть поломана.

— Это не сеть дома, — сказала Вера. — Петербурга.

Семён потёр нос запястьем, оставив серую полосу.

— Всего Петербурга на одном столе не поместится.

— Старого центра, — поправил я. — Усадьбы, рынки, пожарные части, казармы. Места, где всегда есть очаг и люди.

— У нас почти нет людей.

— Поэтому белый камень им нужен раньше аукциона. Пока дом принадлежит Белогорьевым, вынести его законно нельзя. После продажи можно назвать ремонтом.

Вера подошла к модели. Мы принесли её второй ходкой: путь открылся, когда она взяла за руку Полю и провела к лестнице, но комнату дом показал только ей, мне и Семёну. Павел видел стену и очень обиделся. Каменца для описи не дождались — поверенный не вернулся с обещанными ответами. Это отсутствие я записал отдельно.

— Если камень вынут, что произойдёт? — спросила Вера.

— С домом — не знаю. С воротами, печами и лестницей уже происходит. С островом...

Я развернул лист Аркадия с адресами. На обороте была таблица нагрузок, написанная не цифрами, а условными знаками: трещины, кружки, стрелки. Часть понимал Семён, часть относилась к старому очаговому ремеслу. Возле дома Белогорьевых Аркадий поставил четыре жирных креста и приписал: «Западный узел держит линию после закрытия казарм».

— С островом станет хуже, — закончил я. — Насколько — нужен мастер по городским знакам. Не сапёр и не управляющий.

— Мастерская опечатана, — напомнил Семён.

— Значит, найдём мастера снаружи.

— За деньги?

— Желательно того, кто согласится сначала посмотреть на дыру в городе, потом на кассу.

Семён хмыкнул.

— Таких много. В долговой тюрьме.

Агафья Петровна поставила перед нами тарелку с кашей. Одна тарелка, три ложки. Демонстрация того, что пищу мы пропустили по собственной вине и отдельной посуды не за-служили.

— А Роман? — спросила Вера.

Вопрос весь день ждал места и нашёл его между холодной нитью и кашей.

— В споре Аркадий сказал, что Роман добрался до реестра Резанова, — ответил я. — Резанов не удивился. Значит, знал о поисках или о самом Ромane больше вашего отца.

— И отец написал не верить ему.

— Если Роман был у Резанова три года, он мог вернуться не один. Мог подписать что-то, принять подарок, дать обещание, которого не умеет снять. Это пока предположения.

— Но вы уже приготовились подозревать его.

— Я приготовился проверять.

Она зачерпнула кашу, но есть не стала.

— Если он придёт к воротам, вы впустите?

— Спрошу дом.

— А если дом впустит?

— Спрошу Романа.

— И после ответа?

— Посмотрю, кто ответил.

Вера медленно положила ложку. Ей не нравилось, что правильного решения нельзя принять заранее и носить при себе, как ключ. Мне тоже. Поэтому я не пытался сделать вид, что оно есть.

Мы разбирали бумаги до восьми вечера. В кабинете становилось всё жарче, хотя котёл топили экономно. Дед дважды переставлял пустой футляр от часов на список адресов. Первый раз я решил, что задел локтем. Второй — что он намекает недостаточно тонко. На крышке футляра под косым светом проявились три бледных точки. Семён сказал, что это места крепления внутреннего знака. Значит, часы были не просто подарком и даже не только связью по долгу. В них что-то закрепили.

Чёрная тетрадь оказалась дневником осмотров. Аркадий записывал дома, перешедшие Северному обществу, и состояние их соседей. После каждой передачи один заложенный дом чудесным образом получал новый фасад, сухую кладку и исправный очаг. В двух-трёх кварталах рядом начинались пожары, осыпалась штукатурка, люди жаловались на чужие голоса. Закономерность была ясна даже без Дара. Доказательством тетрадь пока не являлась: наблюдения одного покойника, сделанные без официального поручения.

Зато среди писем нашлось кое-что с чужой подписью.

Конверт был помят моим падением. На лицевой стороне: «Полковнику Белогорьеву. Лично. Срочно». Обратный адрес — типография Рахили Моисеевны Гольд, Университетская набережная, двор за табачной лавкой. Письмо датировалось четырьмя днями до смерти Аркадия.

Внутри лежали два листа. На первом владелица типографии сообщала, что ночной печатный станок трижды останавливался без причины, буквы в наборных кассах менялись местами, а рабочие слышали из сушильной комнаты голоса тех, кто в эту смену не приходил. Городской мастер осмотрел обычные знаки, признал их исправными и запросил сто рублей за повторный визит.

На втором был заказ. Триста рублей за обследование, остановку опасного контура и право типографии напечатать объявление с именем исполнителя. Пятьдесят — сразу после прибытия, остальное после безопасного ночного тиража. Предложение оставалось открытым до восьми вечера сегодняшнего дня. Внизу Рахиль Моисеевна своей рукой приписала: «После восьми запускаю станок. Газета должна выйти утром, даже если буквы будут кусаться».

Я посмотрел на часы в кабинете.

Большая стрелка стояла на одиннадцати, малая почти дошла до восьми.

— Когда вы нашли конверт? — спросил я.

Павел, сортировавший у двери пустые папки, поднял го-

лову.

— Только что. Он под ящиком застрял. Я думал, это старое.

— Пальто, — сказал я.

Агафья Петровна возникла в дверях.

— Нет.

— Там пятьдесят рублей аванса.

— Тогда шарф.

Семён уже собирал инструменты. Вера взяла заказ и направилась к выходу.

— Вы остаетесь, — сказал я.

Она не остановилась.

— Это мой дом, моя подпись и мой первый заказ. Можете один раз переспросить.

В кармане у меня лежала записка её отца: не верить сыну, если тот вернётся. На столе остался след того, как князь Резанов вытягивал жизнь из чужих домов, но до доказательства ему ещё предстояло дожить. За окном мокрый вечер накрыл остров, извозчиков после дождя осталось мало, а типография находилась достаточно далеко, чтобы пятнадцать минут превратились в издевательство.

— Семён, ворота, — сказал я.

— Уже.

— Павел, беги за извозчиком. Предложи заплатить после возвращения.

— А если не согласится?

— Скажи, везём наследницу Белогорьевых спасать утреннюю газету. Газетчики любят глупости, особенно правдивые.

Павел выскочил во двор. Вера на ходу подписала заказ, прижав лист к стене. Чернила расплылись на последней букве, но имя читалось.

До восьми оставалось одиннадцать минут.

Глава 5. Деньги пахнут гарью

Павел вернулся без извозчика, зато с велосипедом, который явно принадлежал не ему.

До восьми оставалось девять минут. Вера уже стояла у ворот, прижимая подписанный заказ к груди, чтобы дождь не размыл чернила окончательно. Пальто она надела поверх домашнего платья, застегнула не на те пуговицы и не заметила. Мне Агафья Петровна всё-таки сунула шарф, но пальто не отдала: левый рукав пришлось бы натягивать вдвоём, а времени у нас не имелось даже на одного.

Семён выбежал следом с ящиком. Котелок держался у него на затылке, разбитая губа снова кровила. Он молча забрал у Павла велосипед, прежде чем я успел выяснить, удержу ли руль одной рукой. За поворотом загрохотали колёса, и во двор влетела пролётка. Извозчик был мокрый, злой и уже кричал Павлу, что остановился только забрать велосипед младшего брата.

Вера распахнула калитку.

— Пять рублей, если будем у типографии до восьми.

Извозчик посмотрел на её платье под распахнутым пальто, на дом с выбитым косяком и судебными бирками у парадной двери.

— Два сейчас, три после, — сказал извозчик.

— После восьми — ничего, — ответил я.

— Велосипед верну у типографии, — добавил Семён.

Извозчик посмотрел на него, но Вера уже полезла в пролётку.

Он сплюнул в дождь.

— Садитесь, черти хозяйственные.

Мы с Верой полезли в пролётку. Семён поставил ящик на подножку, но сам не сел.

— На Двенадцатой линии живёт Тишин, — сказал он. — Яков Маркелович. Старые городские знаки, стекло, металл. Если ещё живёт. Если не выселили.

— Ты его знаешь?

— Он в госпитале нам три оконных оберега делал. Два до сих пор стоят, третий украли вместе с рамой. Характер скверный.

— Значит, специалист.

— Значит, за пять рублей посмотрит, за десять оскорбит заказчика письменно.

Я достал из кармана заказ. Бумагу держала Вера, поэтому достал только пустой воздух.

— Пять рублей за осмотр. Обещай койку и еду на три дня. Больше — после разговора со мной.

— У нас есть пять рублей?

— Будут, если доедем.

Извозчик дёрнул вожжи. Семён успел отскочить, пролётка качнулась, и левым плечом я ударился о борт. Рука не заболела. Это тревожило сильнее боли.

— А если Тишин откажется? — крикнула Вера.

Семён уже вытаскивал у Павла велосипед.

— Тогда привезу его посмотреть, как мы всё испортили!

Лошадь взяла с места так, словно тоже рассчитывала на рубли.

На Большом проспекте перед нами встал трамвай: провод над крышей трещал синим, кондуктор ругался с ломовым, ломовой — с городовым. Извозчик рванул в переулок, там разгружали бочки. Мы обошли их по тротуару, задели колесом каменную тумбу и вылетели обратно к набережной возле линии, которую я в темноте не разобрал.

Вера сидела на краю, одной рукой держалась за железную скобу, другой — за заказ. Волосы выбились из косы и били её по щеке. Она не жаловалась, только раз за разом смотрела на маленькие часы извозчика, привязанные к фонарю сыромятным ремешком. Часы спешили или отставали; стрелка дёргалась при каждом ухабе.

— По этим уже восемь, — сказала Вера. — По нашим ещё две минуты.

Впереди показалась табачная лавка. За ней был нужный двор, но въезд перегородила телега с рулонами бумаги. Двое рабочих тянули рулон под навес и кричали третьему, чтобы тот не отпускал. Третий отпустил.

— Стойте! — Вера ударила ладонью по борту.

Извозчик и не думал останавливаться. Она спрыгнула на ходу.

Я схватил её за край пальто правой рукой, ткань выскользнула. Вера приземлилась неудачно, ткнулась коленом в мокрую мостовую, но сразу встала. Заказ остался у неё. Она проскочила между телегой и стеной, задела плечом рабочего и исчезла под аркой.

Извозчик остановил сам: там не проехала бы и тележка. Я выбрался медленнее, чем хотелось. Левая нога после лестницы не сгибалась как следует, шарф зацепился за латунный крюк, и несколько секунд я освобождал шею, пока Вера спасала контракт без участия управляющего.

Во дворе типографии было светло, будто день забыли погасить. Электрические лампы горели под навесами, из окон первого этажа лился жёлтый свет, пар из трубы прибывало дождём к крыше. Пахло мокрой бумагой, угольным дымом, маслом и горячей краской. Главная дверь оказалась заперта. Возле неё Вера спорила с маленьким человеком за стеклом. Тот показывал на часы. Она — на подпись. Оба кричали, но дверь и машина внутри съедали слова.

На втором этаже ударили часы. Восемь раз. Не торжественно — один удар дребезжал, другой запоздал, между шестым и седьмым что-то уронили.

Вера сунула лист в щель под дверью за миг до последнего удара.

Человек за стеклом посмотрел вниз. Потом отпер.

— Принято, — сказала Вера и только теперь прислонилась плечом к косяку.

— Вы кто? — спросил человек.

— Вера Белогорьева. Я подписала заказ.

Человек оказался женщиной. Ростом она едва доставала Вере до виска, носила мужской жилет поверх тёмной блузы и карандаш за каждым ухом. Седые волосы были собраны на затылке так туго, что брови будто всё время задавали вопрос. Она подняла с пола заказ, посмотрела на подпись, на расплывшуюся последнюю букву, затем на часы.

— Последний бой уже начался.

— Лист был внутри.

— Подпись снаружи.

— Вы её прочитали.

Женщина прищурилась. Вера дрожала от холода, на колене расползалось мокрое пятно, но взгляд не отвела.

— Рахиль Моисеевна Гольд, — представилась хозяйка. — Если вы так же чините, как заключаете договоры, я приготавливаю ведро.

— Готовьте два, — сказал я, входя. — Где огонь?

Она оглядела мой шарф, неподвижную руку и грязь на брюках.

— Пока нигде. В этом и неприятность. Кто вы?

— Матвей Корнев, управляющий дома Белогорьевых.

— Дом Белогорьевых прислал мне наследницу и раненого управляющего?

— Остальные будут.

— Сколько?

— Один сапёр и мастер.

— Какой мастер?

— Если Семён нашёл нужного, скоро узнаем.

Рахиль Моисеевна пропустила нас внутрь. Сразу за дверью стояла конторка. На ней лежали пятьдесят рублей десятками, прижатые чугунной литерой «Ж». Хозяйка пересчитала их вслух и придвинула Вере.

— Аванс после прибытия. Вы прибыли. Если выяснится, что приехали смотреть, как мы горим, вернёте.

Вера взяла деньги и повернулась ко мне.

— В кассу, — сказал я.

— Касса у нас дома.

— Пока вы касса.

Она убрала купюры во внутренний карман пальто и застегнула его на единственную правильную пуговицу.

Извозчик ждал во дворе остаток платы. Вера расплатилась, а Рахиль Моисеевна назвала ему ночной угольный склад у гавани. Ещё двадцать рублей и записку Агафье Петровне он повёз обратно: купить сколько дадут без кредита.

Типография занимала первый этаж и полуподвал старого доходного дома. За конторой начиналась наборная: длинные кассы с литерами, лампы под зелёными абажурами, люди в фартуках. Ещё дальше вхолостую ходила плоская печатная машина. Вал намазывал форму чёрной краской, прижим поднимался и опускался с тяжёлым вздохом.

— Ночную газету надо печатать с половины девятого, —

сказала Рахиль Моисеевна. — Двенадцать тысяч листов. К четырём должны уйти первые пачки.

— Если не печатать?

— Завтра читатели узнают новости послезавтра. Это неприлично.

— Что горело раньше?

— Ничего. В сушильной комнате три раза пахло дымом, бумага оставалась холодной. Дважды из печной трубы летели искры при погашенной топке. Во вторник наборщик услышал, как жена зовёт его из подвала. Жена была в Пскове и, по его словам, всё равно не стала бы звать таким голосом.

— Каким?

— Ласковым. Ещё в трёх кассах менялись местами буквы.

— Сами?

— Наборщики отказываются признаваться.

Вера уже шла вдоль стены, не касаясь её. У дверей сушильной она остановилась.

— Здесь кто-то прячется от жара.

— Печь? — спросил я.

— Не печь. Тот, кто живёт возле неё. Он маленький. Или стал маленьким.

Рахиль Моисеевна посмотрела на Веру без усмешки.

— Вы слышите дом?

— Иногда он позволяет.

— Тогда объясните ему, что мы не враги, — сказала Рахиль Моисеевна. — И показывайте, где смотреть.

Первую защитную пластину мы нашли над дверью из наборной в машинный зал. Латунь, почерневшая от копоти; четыре винта; на лицевой стороне старое клеймо мастерской Белогорьевых — две сходящиеся ветви под белой точкой. Клеймо я видел на дверном знаке во флигеле. Здесь ветви были вырезаны глубже и чуть кривее.

Я не открывал Дар. Приложил костяшки к стене рядом. От машины шла обычная дрожь, от трубы — тепло. Пластина была холодной.

— Когда ставили?

— В октябре. Старые знаки начали сыпаться. Северное общество проводило проверку домов на острове и предложило замену в рассрочку.

— Вы должны Северному обществу?

— Уже нет. Заплатила в январе. Подрядчик указан в счёте. Потом другой городской мастер осматривал дважды и сказал, что всё исправно.

На пластине было пять пазов. В четырёх сидели тонкие вставки: медь, стекло, железо и что-то серое, похожее на прессованный пепел. Пятый паз пустовал. Я мог проверить его Даром Меры, но сегодня уже дважды за это платил.

— Нужна отвёртка, — сказал я.

Рабочий у маховика, Наум, принёс нож и сообщил, что отвёртку унесли чинить вместе с дверью.

Я поддел край пластины ножом. Латунь не шевельнулась, зато пустой паз отозвался слабым запахом гари. Не горячим

металлом — старым пеплом из печи, которую растопили чужими письмами.

Вера приложила пальцы к стене и тут же отняла.

— Он боится не огня. Боится, что его заставят держать.

— Что держать?

— Всё. Жар, шум, людей. Он не умеет.

— Здесь четыре таких пластины, — сказала Рахиль Моисеевна. — В сушильной, у трубы, над воротами и в бумажном складе.

— Покажите склад.

— Сначала машину. Если через двадцать минут не запущу, ночь станет убыточной.

— Если запустите неправильно, убыточным станет дом.

— Дом застрахован.

— Люди?

Она помолчала. Совсем недолго, но впервые перестала считать время.

— Люди работают у меня давно, — сказала она. — Поэтому у вас девятнадцать минут.

Семён явился с Тишиным через двенадцать минут.

Они вошли не через контору, а со двора, потому что Тишин увидел трубу и потребовал сначала показать ему, «какая сволочь так вывела тягу». Он был маленьким, сухим, в паль-

то на два размера больше и с круглым футляром очков, привязанным к пуговице шнурком. Очки сидели на носу. Футляр, видимо, обеспечивал дисциплину. Обожжённые пальцы торчали из перчаток, у которых были аккуратно срезаны концы.

— Корнев? — спросил он, найдя меня в машинном зале.

— Да.

— Пять рублей.

— После осмотра.

— Я уже осмотрел трубу.

— Тогда один рубль.

Тишин посмотрел на Семёна.

— Он всегда торгуется с человеком, которого сам позвал?

— Когда деньги появляются через стену, — ответил тот.

— Через дверь, — поправила Вера. — И они у меня.

Тишин повернулся к ней, заметил отцовскую булавку и неожиданно снял шапку. Не поклонился. Пальцами провёл по краю, будто проверял шов.

— Ваша мастерская закрылась семь лет назад.

— Опечатана три месяца назад, — ответила Вера.

— Работать перестала раньше. Где знак?

Я показал пластину. Тишин не подошёл. Снял очки, протёр их краем шарфа, снова надел и сказал:

— Подделка.

— Вы смотрели с трёх шагов.

— С четырёх. Белогорьевы не ставили ветви концами

внутри.

На клейме ветви действительно загибались к белой точке. На знаке во флигеле они раскрывались наружу. Я запомнил не смысл, только форму.

— Ветви можно перепутать, — сказала Вера.

— Можно. Один раз, учеником. На четырёх пластинах это называется заказом.

Тишин подошёл, потянул носом воздух, приложил к латуни ноготь.

— И свинец плохой. Типографский.

Рахиль Моисеевна скрестила руки.

— У меня кругом типографский свинец.

— Потому здесь и отливали либо хотели, чтобы так подумали.

— Что пластина делает?

— Пока не знаю.

— Четыре шага назад вы знали всё.

— Я знал, что это подделка. Для остального её надо снять.

Наум нашёл сломанную отвёртку, Семён — клещи, а Тишин вынул из жилета собственный инструмент. В карманах у него звякнули напильники, стекло и маленький молоточек.

Первый винт вышел легко. Второй был прихвачен изнутри оловом. Когда Тишин начал прогревать его спиртовкой, пластина дрогнула. В сушильной комнате что-то быстро пробежало по полу. Не шаги. Царапанье десятков сухих когтей.

Вера повернулась к двери.

— Там уже не один.

Я велел Науму остановить подачу пара и вывести из машинного зала тех, кто не нужен у котла. Рахиль Моисеевна возразила: без пара давление упадёт, повторный разогрев займёт сорок минут. Я спросил, сколько времени займёт похоронить наборщиков. Она сама пошла к машинисту.

Тишин снял пластину и положил лицом вниз на стол. С изнанки шли пять дорожек. Четыре сходились в центре, пятая уходила к крепёжному винту и через него — в стену. Он провёл мелом по дорожкам. Мел почернел.

— Развёрнута, — сказал Тишин. — Должна выпускать лишнее наружу и гасить по слоям. Эта собирает. Пустой паз оставлен под живой носитель.

— Духа? — спросила Вера.

— Любого очагового зверька, привыкшего к месту. Его загоняют внутрь, он тащит за собой жар. Пластина держит, пока может. Потом лопается.

— Куда идёт жар после?

— Куда слабее стена.

Я посмотрел на перегородку между машинным залом и соседним подъездом. За ней тянулась узкая лестница жилой части дома. На площадке сохло детское бельё; мы видели его из двора.

— Здесь не одна пластина, — сказал Семён. Он вернулся от трубы, неся клочок чёрной пакли. — В дымоходе заслонка с тем же клеймом. Открывается внутрь трубы, закрывается

поперёк. Если её поведёт, дым пойдёт в сушильную.

— Четыре пластины и заслонка, — сказал Тишин. — Контур. Плохо сделанный, но не дешёвый.

— Как остановить?

— Не запускать машину, снять всё, изготовить заново. Три дня, если есть металл. Неделя, если нет.

Рахиль Моисеевна вернулась.

— Машину запустят через десять минут.

Тишин посмотрел на неё поверх очков.

— Вы глухая?

— У меня двенадцать тысяч листов и семьдесят четыре человека, которые получают деньги после выпуска. Если остановлюсь сегодня, завтра кредитор назовёт здание опасным. Через неделю здесь будет склад Северного общества. Я не глухая, Яков Маркелович. Я считаю.

В машинном зале стало тихо, хотя привод ещё постукивал на холостом ходу. Тишин медленно убрал отвёртку.

— Я посылала к вам утром, — добавила она. — Посыльный предложил три рубля вместо семи.

— Четыре украл, — сказал Тишин и снова посмотрел на пластину. Взгляд был не придиричивый, а тяжёлый; такую ошибку он где-то уже видел.

— Временный контур? — спросил я.

— Возможен.

— Сколько времени?

— Если ваши люди умеют выполнять — час.

— У нас десять минут.

— Тогда получится плохо.

— Насколько плохо?

— Нужен мягкий металл, медная линейка, четыре железные рамы, негорючая краска, соль и кто-нибудь, кто сумеет уговорить местного духа не лезть туда, где жарко.

Вера уже снимала пальто.

— Последнее будет.

Тишин посмотрел на неё, потом ткнул обожжённым пальцем в наборную.

— Литеры. Самые тяжёлые, не мельче цицера. Латунные линейки из касс. Четыре чугунные рамы от форм. Краску замешаем на золе. Соль...

Рахиль Моисеевна велела принести два фунта соли и записать их на производство.

Люди начали двигаться не сразу. Один наборщик принёс не те рамы, второй высыпал литеры на пол, Наум полез под привод, и Семён вытащил его за пояс раньше, чем машина прихватила фартук. Вера ушла в сушильную одна. Я заметил это через несколько секунд — достаточно поздно, чтобы вспомнить второе правило.

— Вера Аркадьевна!

Из сушильной донеслось:

— Я переспросила бы, но вас не было!

Я пошёл за ней. За спиной Тишин ругался на людей, рамы и металл.

В сушильной стояли деревянные стеллажи с отпечатанными листами пробного выпуска. Бумага была сухая и холодная, а между полками ползали красные точки. Сначала я принял их за искры. Одна остановилась у моего сапога, поднялась на двух тонких лапках и раскрыла рот, полный белого жара. Тело у неё состояло из копоты, хвост оставлял на полу линию, как обугленная верёвка. Из-под нижней полки выглянули ещё три.

Вера сидела на корточках возле печной дверцы. Ладони держала перед собой, но не касалась металла.

— Он там, — сказала она. — Его загнали внутрь. Эти от него отрываются.

— Можете вывести?

— Он не верит. Люди каждый вечер топят, утром гасят. Для него мы всё время обещаем тепло и отнимаем.

Красная тварь у сапога прыгнула. Я сбил её свёрнутым листом, бумага вспыхнула в руке, пришлось бросить и затоптать.

— Что нужно?

— Чтобы вы не стояли над головой.

Это был разумный ответ, поданный неподходящим тоном. Я отступил к двери. Вера сняла отцовскую булавку и положила перед печью. Металл сразу покрылся влагой.

— Я не буду тебя держать, — сказала она не печи и не красным точкам. — Когда откроют путь, уходи в золу. Там не закроют. Я останусь, пока не выйдешь.

Изнутри кто-то поскрёб.

— Вера...

— Не сейчас.

Её голос сорвался на последнем слове. Она сердито вытерла нос запястьем и придвинулась ближе к дверце.

Я вышел, хотя оставлять её там не хотелось.

В машинном зале временный контур уже лежал на полу неровным прямоугольником. Четыре печатные рамы соединили латунными линейками; по углам Тишин раскладывал тяжёлые литеры.

— Где замыкать? — спросил я.

— Вокруг машины. Открытый край к сушильной. Дух выйдет через золу, жар уйдёт в металл и печатную форму. Если рамы не треснут.

— А если треснут?

— Узнаем сразу. Помогите.

Я вместе с Семёном потащил последнюю раму. Весила она пуда два. Правой рукой я удерживал край, левую положил сверху, чтобы не болталась. Пальцы съехали в зазор, и только Семён успел остановиться.

— Руку убери, — сказал он.

— Держу.

Он отпустил свою сторону. Рама ударилась ребром о пол. Тишин заорал. Я тоже, но позже.

— Я не соглашался отрезать тебе пальцы ради срочной газеты.

Пришлось отойти. Наборщики подняли раму втроём.

Тишин замешал в жестяной банке типографскую чернь, соль, золу и медную стружку, затем провёл кистью вдоль рам, оставляя разрывы у каждого угла.

— Почему не замыкаете?

— Потому что внутри ещё люди.

— Все выйдут.

— Тогда останется машина. Если запереть жар без нагрузок, рамы лопнут.

Вал начал двигаться.

Рахиль Моисеевна стояла у пульта, положив руку на рычаг.

— Я велел не запускать, — сказал я.

— Вы спросили, что будет, если не печатать. Я ответила.

— Контур не готов.

— Через семь минут будет поздно для развозки.

Наум и наборщики замерли с инструментами в руках. Рахиль Моисеевна включила машину сама.

Первый лист лёг на форму.

В стене за пластиной что-то глубоко вдохнуло.

Огонь не вспыхнул. Он сначала появился в буквах.

На первом листе вместо заголовка проступили маленькие красные следы, будто по свежей краске пробежала стая мы-

шей. Лист вышел из-под прижима, Наум подхватил его, выругался и бросил: бумага обожгла ладонь. Второй задымился по краям. На третьем загорелась дата.

— Стоп! — крикнул Тишин.

Рахиль Моисеевна рванула рычаг. Привод продолжал вращаться. Из-под пола ударил пар, машину дёрнуло, и прижим опустился на пустую форму с таким звуком, будто в подвале захлопнули дверь.

В сушильной закричала Вера.

Я шагнул к ней. Тишин поймал меня за шарф.

— Машина держит контур. Остановится сейчас — всё уйдёт в стену.

— Там человек.

— Там дух. Человек пока с ним.

Семён уже бежал в сушильную. Я дёрнул шарф, узел затянулся. Тишин выпустил, а я потерял ещё несколько секунд, стягивая шерсть через голову. Шарф остался у него в руке.

Из дверей выкатился дым. Не чёрный, обычный серый дым от бумаги, только шёл он по полу, обтекал сапоги и поднимался возле фальшивых пластин. Красные точки в нём двигались против сквозняка.

Семён вынес Веру на плече. Она била его кулаком между лопаток и требовала поставить.

— Сама шла, — сказал он, опуская её возле рамы.

— Вы меня схватили.

— Поэтому и дошла.

На рукаве её платья тлела узкая полоса. Я сбил огонь ладонью, ткань прилипла к коже. Вера даже не заметила. Она держала в пригоршне серый комок золы. Внутри билось что-то маленькое, как перепуганное сердце.

— Он вышел, — сказала она. — Но остальные не его. Не все.

Из сушильной послышался голос:

— Верочка.

Вера застыла. Так мог звать её отец, когда был жив. Не «Вера Аркадьевна», не «Вера», а именно так — я слышал однажды в лагере, когда Аркадий получил письмо из дома и прочёл вслух первые две строки.

— Не отвечайте, — сказал я.

Голос повторил:

— Верочка, здесь темно.

Она сжала золу так сильно, что серое посыпалось между пальцами.

— Это не он.

— Знаю.

— Я не вам.

Красные точки полезли из дыма на стены. На пластинах одна за другой вспыхнули белые сердцевины. Тишин закрасил первый разрыв в раме. Металл под кистью задрожал. Закрасил второй, крикнул наборщикам убрать руки. Третий не принимал краску: смесь стекала, оставляя чистую полосу.

— Латунь перевёрнута! — крикнул он.

Семён прыгнул к углу, поддел линейку клещами. В этот момент машина выбросила горящий лист. Он пролетел через зал и лёг на стопу бумаги возле стены.

Наум бросился тушить. Рахиль Моисеевна ударила его по руке.

— Не водой! Краска масляная!

Она сорвала с соседнего стола суконное покрывало, накрыла стопу и сама встала сверху. Огонь погас, подошвы её ботинок задымились.

В машинном зале лопнуло стекло. Не окно — вставка во второй пластине. Осколки ушли внутрь стены. Перегородка вздулась, обои в соседнем подъезде с той стороны загорелись прямоугольником. Я увидел это не глазами: нагрузка качнулась, и левая половина помещения стала легче. Жар уходил туда.

— Семён! Соседний дом. Лестница за стеной.

Он посмотрел на кирпич, потом на дверь во двор.

— Сорок шагов через арку. Наум, со мной! Остальные из сборной — во двор, по двое. Носы и рты закрыть мокрым.

— Я не распоряжался моими людьми, — начала Рахиль Моисеевна.

— Теперь распоряжаюсь я, — ответил Семён. Без крика.

— Спорить будете снаружи.

Она открыла рот, но Наум уже сорвал со стены план эвакуации, чтобы обернуть лицо. Остальные двинулись за ним.

У третьего угла латунная линейка лежала насечкой вниз.

Рама раскалилась, пальцы правой руки уже обожгло тканью с Вериного рукава. Я взял клещи. Тишин ударил меня по запястью.

— Не туда. Сдвинете на вершок — замкнёте через себя.

— Покажите.

— Я крашу.

Он выругался, показал обратный зуб. Линейка встала, Тишин мазнул краской, третий угол потемнел.

Четвёртый находился у машины.

Между нами ходил прижим. Зубья на главной шестерне светились тускло-красным, каждый оборот выбрасывал горящий или покрытый чёрными отпечатками лист.

— Котёл гасить нельзя, — сказал Тишин. — Раму разорвёт.

— Машину остановить можно?

— Когда замкнём.

— Как добраться?

— Я маленький.

Он лёг на пол и пополз под тягой привода. Край жилета зацепился за болт; Тишин снял его, рассыпав инструменты. Молоточек упал в раму и выбил две литеры. По контуру прошла красная волна. Прижим опустился над мастером, но он успел протиснуться к четвёртому углу.

В соседнем подъезде закричали дети.

За стеной застучали двери, кто-то кашлял, женщина звала детей. Дым из щели под потолком стал гуще.

Вера подошла к стене с комком золы в ладонях.

— Дом не принимает огонь. Он отталкивает.

— Какой дом?

— Соседний. Там очаг сильнее, чем казалось. Он толкает обратно, а эти пластины снова загоняют сюда.

Жар качался между двумя зданиями. Пока оба сопротивлялись, он накапливался в общей стене. Кирпич держал. Деревянные балки над ним — нет.

— Пусть примет ненадолго, — сказал я.

— Он не мой.

— Попросите.

— Я не могу приказать чужому дому.

— Тогда не приказывайте.

Она прижала лоб к стене, золу удерживала возле груди.

Тишин добрался до угла и крикнул:

— Линейка короткая! Не хватает двух пальцев!

Семён был за стеной, Наум выводил людей. Я увидел на полу молоточек Тишина. Рукоять была обмотана тонкой медной проволокой; длины хватило бы.

— Проволока подойдёт?

— Какая?

Я поднял.

— Положите! Я тридцать лет её ношу.

Я размотал медь и подал конец. Тишин закрепил его на линейке, а второй конец велел прижать к раме.

Медь обожгла правую ладонь. Контур почти замкнулся.

Три угла держали жар, четвёртый пропускал его тонкой струёй. Красная линия прошла по проволоке, перескочила мне на запястье. Дар Меры раскрылся сам.

Я увидел перекус.

Временная рама принимала жар, но не знала, куда его отдать. Тишин оставил открытый край к сушильной, рассчитывая на золу и печного духа. Дух вышел; без живого носителя зольный путь не принимал жар. Контур теперь держал всё внутри, повторяя ошибку фальшивых пластин аккуратнее и быстрее.

— Не замыкайте! — крикнул я.

Тишин уже прижал проволоку.

Четыре рамы вспыхнули белым.

Машина остановилась на половине хода. Весь огонь в зале исчез. Стало темно, тихо и холодно, будто мы оказались не после пожара, а перед ним. Потом жар собрался в одной точке — в общей стене на высоте перекрытия.

Балка треснула.

Тишин лежал под приводом, Вера стояла у стены, по другую сторону Семён выводил детей.

Дар показал тяжёлый чугунный цилиндр машины, рассчитанный принимать давление тысячи раз за ночь. Он был холоднее рамы и соединён с контуром металлической тягой. Плохой носитель, но другого не было.

Я прижал ладонь к раме и сдвинул нагрузку.

Сначала ничего не произошло. Потом в спине будто про-

вернули тупой ключ. Левая рука дёрнулась сама, пальцы раскрылись — впервые за день — и легли на горячий металл. Я почувствовал каждый. Особенно тот, который прижало краем литеры. Кожа зашипела.

Цилиндр машины пошёл назад.

Чугун темнел, принимая жар. Красные линии стекали к нему с рам, пластин и стены. Прижим поднялся, Тишин выкатился из-под тяги. Вера не отняла лоб от кирпича, пока из соседнего подъезда не донёсся голос Семёна:

— Последний вышел!

Тогда общая стена толкнула.

Нагрузка ударила обратно. Жар пошёл через обе руки к позвоночнику. Перед глазами появилась комната, которой не было, кабинет Аркадия, потом брат, оставшийся под рухнувшей телегой двенадцать лет назад.

Кто-то кричал, чтобы я отпустил. Возможно, я.

Чугунный цилиндр лопнул вдоль оси.

Грохот выбил остатки стёкол. Волна жара ушла вверх, в трубу. Заслонка Семёна не выдержала и вылетела на крышу. Из дымохода поднялся столб красных искр, дождь прибил их к черепице. Фальшивые пластины одна за другой оторвались от стен и упали лицом вниз.

Я тоже.

Пол оказался покрыт литерами. Они впились в щёку и ладонь. Пахло железом, краской и палёной шерстью. Меня вывернуло прямо на край печатной рамы.

Тишин успел оттащить раму, потом оттащил и меня.

В машинном зале ещё тлели листы. Их тушили песком, сукном и мокрыми фартуками. Рахиль Моисеевна ходила среди людей без ботинок — подошвы прогорели — и считала вслух. Последняя работница отозвалась из конторы: осталась возле кассы.

Вера сидела рядом со мной на полу. Отцовская булавка снова была у неё на вороте, почерневшая по краям. Комок золы она держала в пустой наборной кассе. В золе один раз моргнул красный огонёк и погас, не умер — устроился.

— Вы меня слышите? — спросила она.

— К сожалению.

— Сколько пальцев? — Она подняла три.

— Три.

Лицо у неё было серым от дыма. По щеке прошла чистая дорожка от слезы или дождя, хотя дождь сюда не попадал. Вера вытерла её и оставила чёрное пятно.

— Вы обещали не держать всё один.

— Я не держал. Тишин сделал контур, Семён вывел людей, вы договорились с домом.

— А потом вы легли на него руками.

Она хотела ответить, но Тишин плюхнулся на пол с другой стороны. Без жилета он выглядел ещё меньше. Очки потерялись, волосы стояли дыбом, обе ладони были в чёрной краске.

— Контур был правильный, — сказал он.

— Был закрытый.

— Потому что ваш дух вышел раньше.

— Вы велели его вывести.

— Я велел уговорить не лезть, где жарко. Не переселять.

До пожара он был носителем.

Вера медленно повернулась к нему.

— Вы хотели оставить его внутри пластины?

— На десять минут. И выпустить через золу.

— Он три месяца сидел там и боялся.

— Я этого не знал.

— Вы не спросили.

Тишин провёл пальцами по обожжённой щеке.

— Не спросил, — признал он и начал искать очки среди литер.

Семён вернулся из соседнего подъезда. Котелка не было, борода обгорела с правого края.

— Двадцать шесть жильцов. Четверо детей. Все во дворе. У одной женщины дымом прихватило грудь, но дышит. Нам с ней.

— Огонь?

— В стену не прошёл. Балка почернела на три аршина, трещина до потолка. Завтра надо разбирать. Сегодня поставил подпорку.

Он посмотрел на мои руки.

— Состояние?

— Две ладони обожжены. Левая чувствует. Спина...

Я попытался сесть ровнее. В глазах потемнело.

— Сознание терял?

— Не уверен.

— Меньше минуты, — сказал Семён. — Тишин всё это время ругался.

— Цилиндр восстановить нельзя, — сказал Тишин, не поднимая головы.

Рахиль Моисеевна стояла над треснувшей машиной. Провела ладонью по чугуну, затем позвала Наума. Тот вернулся, кашляя, и долго смотрел на продольную трещину.

— Второй пресс, — сказал он. — Малый.

— Медленный.

— До утра половину дадим.

— Бумаги на восемь тысяч хватит, — сказал Наум.

Она кивнула.

— Значит, восемь тысяч. Остальным доставим дневной выпуск.

Она повернулась ко мне.

— Вы обещали безопасный ночной тираж.

— Обследование, остановку опасного контура и безопасный тираж после. Большая машина сломана, контур тоже.

Рахиль Моисеевна посмотрела на меня без прежней колкости. Устало. Потом подняла с пола одну из фальшивых пластин и положила рядом.

— Сможете запустить малую?

Я посмотрел на Тишина.

Он нашёл очки. Одно стекло треснуло.

— Смогу, — сказал он. — Если никто не потребует закончить до того, как я закончу.

— Сколько?

— Полтора часа и чай.

— Работайте.

Малый пресс запустили в два часа сорок минут.

Первые десять листов Тишин снял сам: щупал бумагу, нюхал краску, один раз остановил машину. На одиннадцатом позволил Науму увеличить ход. Печатались только те буквы, которые ставили наборщики.

Временный контур Тишин собрал заново, с открытым отводом в железный ящик с мокрой золой. Печного духа Вера поселила под обычной плитой в конторе. Рахиль Моисеевна пообещала не гасить последнюю горелку до утра и записала восемь копеек угля в расходы. Стены перестали шептать.

Часть соседей осталась в конторе греть детей и ругать типографию. Котелок Семёна нашёлся на крыше с вмятиной; он надел его, не выправляя.

Мне перевязали ладони полосами чистой бязи. Левая рука болела от пальцев до плеча; остаток работ я провёл на ящике у малого пресса.

Вера сама составляла акт. В графе «предполагаемая при-

чина» вывела «умышленное изменение защитного контура», остановилась и спросила:

— Это уже доказано?

— Для суда — нет, — ответил я.

Она зачеркнула только слово «умышленное» и написала: «установка развёрнутых внутрь деталей неизвестным подрядчиком». Тишин добавил на обороте особое мнение о преждевременном освобождении носителя.

Рахиль Моисеевна принесла остаток платы, когда из прессы вышла сотая газета. Двадцать пять десятирублёвых купюр. Положила рядом с literой «Ж», пересчитала вслух и не придвинула.

— По договору триста, — сказала она. — Здесь двести пятьдесят. Ещё сорок за соседний дом.

Семён попросил купить на эти сорок лекарство женщине, надышавшейся дымом. Рахиль Моисеевна переложила купюры в другую стопку.

— Вы разбили машину стоимостью в тысячу четыреста рублей.

— В договоре не было условия разбивать бесплатно.

Она засмеялась. Один раз, резко, потом закашлялась и вытерла глаза.

— За машину вы мне ещё счёт выставите?

— Нет. Но и чудо продавать не стану. Начали мы плохо. Тишин рассчитывал на духа, не спросив Веру. Отвод я не проверил. Машину вы пустили раньше времени. Потом вы-

вели людей, остановили перенос и запустили малый пресс. За работу берём сумму договора, повреждения запишем отдельно.

— Вы всегда объясняете заказчику, где ошиблись?

— Если заказчик не узнает, он повторит.

Рахиль Моисеевна подвинула двести пятьдесят рублей к Вере.

— Тогда рекламное объявление тоже будет без чуда.

Она достала гранку. Пока мы тушили пожар, наборщики успели составить текст:

**«ДОМ БЕЛОГОРЬЕВЫХ СПАСАЕТ ОТ ОГНЯ,
ДУХОВ И НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КРЕДИТОРОВ.
СРОЧНЫЙ ВЫЕЗД. ГАРАНТИЯ».**

— Нет, — сказал я.

— Всё после фамилии. У нас нет лицензии на мастерскую и гарантии.

— Напечатайте: «Дом Белогорьевых. Осмотр бытовых обсергов и аварийная защита зданий. Работа по договору, отчёт о причинах и расходах». Адрес.

— Звучит так, будто вы чините водостоки.

— Зато не врёт.

Тишин вписал после «аварийная защита»: «без удержания живых носителей». Вера вычеркнула.

Вера пересчитала деньги, сбилась на ста девяноста и начала заново. Потом отделила десять рублей и положила перед Тишиным.

— За сегодняшний выезд. Дальше надо договориться.

Тишин посмотрел на фальшивую пластину, на свои обожжённые руки, потом на Семёна.

— Мастерская действительно опечатана?

— Да. Часть инструментов осталась, в дымоходе трещина, про стекольный стол не знаю, — ответила Вера.

— Еда, койка, десять рублей за сегодняшний выезд и доля в общей трети после материалов, — сказал я. — До снятия печатей вы осматриваете то, что можно осмотреть законно. Если откроем мастерскую — возглавите.

— Я бракую любой опасный заказ без вашей подписи.

— Причину записываете.

— Если заказчик понимает слова.

Тишин застегнул пустой жилет.

— Ученика выбираю сам.

— Когда появятся деньги на ученика.

Он взял десять рублей и долго разглаживал купюру на колене.

— Согласен на три дня, — сказал он. — Потом посмотрю, не врёт ли ваша мастерская.

Перед уходом мы сняли все четыре фальшивые пластины. Тишин велел завернуть каждую отдельно. Рахиль Моисеевна приложила октябрьский счёт подрядчика; разбирать клейма на горячем металле он запретил.

Рахиль Моисеевна упаковала бумаги в серую обёртку, перевязала шпагатом и сверху написала наш адрес.

Домой мы ехали на телеге с газетами. Извозчик, заработавший пять рублей, ждать до трёх часов отказался. Вера отправилась на другом экипаже к врачу соседку, надышавшуюся дымом, а сама осталась с нами.

Я лежал на брезенте между пачками газет. Пальцы левой руки болели под повязкой, каждый удар колеса отдавался в спине. Вера накрыла меня своим пальто. Я сделал вид, что сплю.

У ворот Белогорьевых нас встретил запах угольного дыма.

Я сел слишком быстро. В глазах потемнело. Семён придержал за плечо.

— Это наш, — сказала Вера.

Во дворе стояла телега с углём. Павел и Степан таскали корзины в подвал, Дуня записывала мелом количество, Поля держала фонарь. Агафья Петровна следила за продавцом.

— Откуда? — спросил я.

Она повернулась.

— Пятьдесят рублей аванса были у Веры Аркадьевны.

— Были, — подтвердила Вера. — Я отправила двадцать с извозчиком от типографии.

— За доставку взяли полтора, — сказала экономка.

— И сколько угля?

— На десять дней, если не топить парадную половину. На семь, если Тишин будет сушить стекло.

— Буду, — сказал Тишин.

Агафья Петровна осмотрела его с головы до ног.

— Сначала будете мыться, — сказала Агафья.

Она забрала у Веры остаток аванса, пересчитала и выдала каждому из шестерых по три рубля старого жалованья. Деньги Герасима отнесла ему Вера. Остальное убрала в жестяную кассу, где утром лежали сорок семь рублей восемнадцать копеек.

— Почему сейчас? — спросил я.

Агафья захлопнула крышку.

— Потому что люди не спали, дрались, таскали уголь и ещё не видели ни одной прибыльной бумаги.

Дуня записала каждую выдачу на стене; утром Вера обещала перенести в книгу.

Тишин остановился посреди двора. В закрытом восточном флигеле звякнуло стекло. Мастер поднял голову.

— Там стол, — сказал он.

— Вы его видите? — спросила Вера.

— Слышу.

— Три дня, — напомнил Тишин и пошёл за Агафьей Петровной мыться.

На кухне было жарко, с открытой заслонкой, кипящим чайником и мокрыми рукавицами над плитой. Герасима принесли на стуле, несмотря на запрет доктора. Он держал три рубля в кулаке и требовал включить их в опись.

Я сел у стены. Вера положила на стол оставшиеся двести сорок рублей, счёт типографии, акт и завернутые пластины. Подробное распределение отложили до утра.

Поля принесла кашу. Не одну тарелку на троих — каждому свою, хотя моя стояла дальше, чем мог дотянуться правой рукой. Агафья молча переставила ближе.

Дед прошёл над потолком от кухни к восточному флигелю. Остановился там. Потом вернулся и один раз стукнул над тем местом, где Тишин оставил ящик.

— Это хорошо? — спросил Павел.

— Это проверка, — сказала Вера.

— И сколько она длится?

Я посмотрел на мастера. Он уснул, положив голову на жилет, ещё до каши. Семён дремал сидя, котелок не снял. У Веры распустилась коса, на рукаве осталась чёрная полоса от огня.

— Три дня, — сказал я.

За окнами рассвело. Тишин вдруг проснулся, развернул ближайшую пластину и соскоблил с изнанки пепельную мастику. Под ней проступили две строки: старое клеймо Белогорьевых и «СКО, партия 6/41».

В октябрьском счёте типографии значилось: **«Материал предоставлен по партии 6/41 Северного кредитного общества».**

Глава 6. Слуги или соратники

Двести сорок рублей лежали на кухонном столе и пахли типографской краской.

Между купюрами лежал счёт Рахили Моисеевны, рядом остывали завёрнутые пластины, от моих рукавов тянуло гарью, а Семён спал на лавке, уткнувшись обгорелой бородой в плечо. Деньги обычно пахнут местом, где их заработали. Эти достались нам в дыму, под треск чугуна и чужой крик.

Считать их предстояло Вере. Мои ладони были замотаны бязью так, будто я заранее готовился изображать привидение управляющего. Правая ещё сгибалась. Левая болела от ногтей до лопатки и на каждую попытку шевельнуть пальцами отвечала сразу в нескольких местах. После месяцев онемения это можно было считать улучшением. Доктор, вероятно, выбрал бы другое слово и выставил за него отдельный счёт.

За окнами рассвело, но утро в кухне не начиналось. Ночь просто истончилась и осталась сидеть с нами за столом. Тишин спал на сложенном жилете, убрав очки в кружку. Степан Григорьевич ходил в угольный подвал проверять недостачу, Поля чистила картофель мимо миски, а Дуня переносила со стены ночные расходы в книгу. Герасима успели вернуть в постель вместе с его тремя рублями и смятым докторским запретом.

Вера сидела напротив меня. Косу она заплела заново, но

на виске осталась чёрная полоса. Перед ней лежали счётная доска, две книги и жестяная касса. В кассе звякнуло то, что ещё вчера составляло всё состояние Белогорьевых.

— Сорок семь рублей восемнадцать копеек, — сказала она.

— Было.

— Осталось. Агафья Петровна ничего из них не брала.

Экономка, не оборачиваясь от плиты, сказала:

— Потому что за уголь прислали двадцать рублей. У меня ещё была мелочь на соль.

— Откуда?

— Из кармана.

— Чьего?

— Моего. Не делайте такое лицо, Матвей Сергеевич. Там было сорок три копейки, род не спасён.

Вера записала сорок три копейки в долг дома перед Агафьей. Та обернулась и потребовала немедленно вычеркнуть. Вера не вычеркнула. Они смотрели друг на друга через кухню, пока Поля не уронила картофелину в золу.

— Дальше, — сказал я. — Аванс.

— Пятьдесят. Пять извозчику, двадцать на уголь и доставку. Осталось двадцать пять. Из них восемнадцать выдали людям. Семь в кассе.

— Окончательная плата?

— Двести пятьдесят. Десять Якову Маркеловичу. На столе двести сорок.

— Всего?

Вера подвинула костяшки на счётной доске. Остановилась, вернула одну, снова подвинула.

— Двести девяносто четыре рубля восемнадцать копеек. Тишин, не поднимая головы с жилета, произнёс:

— Мои десять не надо каждый раз называть так, будто я их вынес.

— Вы их заработали, — сказала Вера.

— Тогда называйте с уважением.

— Десять рублей Якова Маркеловича, — исправила она.

— Теперь можно.

Он снова заснул или сделал вид. У Тишина это получалось одинаково убедительно.

Я попросил Дуню принести обязательство, подписанное во второй вечер. Она достала лист из книги жалованья. Бумага успела измяться на сгибах; наши подписи оставались целы. Вера развернула её рядом с деньгами.

— После прямых расходов треть заработка уходит на жалованье, — прочитала она. — Пять извозчику, десять мастеру. Остаётся двести восемьдесят пять. Треть — девяносто пять.

Тишин поднял палец, не открывая глаз:

— Мастер с уважением.

На кухне стало тише. Даже Степан Григорьевич не сразу нашёл новое обвинение продавцу угля.

— Восемнадцать уже выдали, — сказала Дуня. — По три.

— Это не вместо доли, а из неё, — ответил я. — Семёну за два дня и ночной выезд — двенадцать. Остальные шестьдесят пять — в погашение старого жалованья по прежнему соотношению долгов.

Семён открыл глаза и попробовал отказаться: у старых работников долг был за два месяца, у него — за два дня. Я напомнил, что еда, койка и жалованье были условием до начала работы, а не после появления лишних денег. Он взял двенадцать рублей только тогда, когда Вера отказалась записывать их новым долгом дома. Купюру сложил вчетверо, монеты убрал отдельно.

Остальные шестьдесят пять распределяли по книге. Я не вмешивался, пока Вера не предложила всем поровну.

— Мы обещали по размеру долга, — напомнил я.

Поля тут же предложила отдать часть Дуне. Именно поэтому размер выплаты определяла книга, а не доброта уставшего человека.

Вера пересчитала остатки: Агафье — шестнадцать, Герасиму — четырнадцать, Степану — одиннадцать, Дуне — девять, Павлу — восемь, Поле — семь. Вместе с ночными тремя получалось не богатство. Зато каждая выплата уменьшала написанную рядом сумму, а не обещание когда-нибудь вспомнить о людях.

Герасиму деньги отнесли вместе с книгой; старик заставил Веру показать остаток долга, пересчитал его неправильно и подписал правильное число прежней кляксой.

Агафья свои девятнадцать рублей брать не хотела: на кухне не было мяса, муки оставалось на четыре дня. Я отделил тридцать пять рублей на еду. По её расчёту этого хватало на десять дней — или на одиннадцать, если не объяснять Вере, из какой части животного варят студень. После этого экономка деньги взяла. Часть сразу отдала Дуне на хозяйство; Дуня записала и это.

После еды шли лекарства. Доктору оставались обещаны три рубля за первый осмотр, ещё пять Агафья потребовала на порошки, чистую бязь и мазь для Герасима. На мои руки она указала ложкой, однако отдельной суммы не назвала. Видимо, считала их частью текущего ущерба.

— Восемь, — сказала Вера, откладывая.

— Дальше уголь, — напомнил я.

— Уже двадцать.

— Запишите первым расходом, не прячьте потому, что потратили ночью.

Дуня записала отдельно восемнадцать с полтиной за уголь и полтора за доставку. Степан добавил своё мнение о недовесе, расписался под ним и сразу стал осторожнее с числами.

На открытие мастерской, образцы стекла, медь, железную нить и сборы мы отложили восемьдесят рублей. Каменец наверняка сказал бы, что это не статья расхода, а намерение. Намерение я положил в отдельный конверт и велел Вере написать сверху назначение. Шестьдесят рублей оставили неприкосновенными. Остальные тридцать четыре рубля во-

семнадцать копеек вернулись в кассу на мелкие нужды.

Когда деньги разошлись по конвертам, кухонный стол не опустел. На нём осталось больше порядка, чем было до подсчёта.

Лев Борисович Каменец вошёл как раз тогда, когда Дуня поставила последнюю точку.

Он был в том же сюртуке, в котором ушёл вчера, но манжеты сменил. Чистые, жёсткие, слишком белые для человека, прошедшего ночь между городским архивом и конторой кредитного общества. На ботинках засохла грязь. Не наша: светлая, с песком.

— Прошу простить задержку, — сказал он, остановившись у двери. — Обстоятельства получения сведений потребовали личного присутствия.

Агафья поставила перед ним тарелку каши.

— Обстоятельства пусть едят стоя. Вы садитесь.

Каменец не сел. Он увидел пластины, счёт типографии, пачки денег, а потом наши повязки. На лице у него ничего не изменилось, только правой рукой он прикрыл средний палец с чернильным пятном.

— Имел место пожар?

— Имела, — сказала Вера. — Типография женского рода.

— Я имел в виду случай.

— Случай тоже.

Она протянула ему акт. Каменец читал долго. На строке о партии 6/41 задержался, потом проверил приложенный счёт.

Я наблюдал не за глазами, а за большим пальцем. Он дважды провёл по краю бумаги в одном месте, словно заранее знал, где искать номер.

— Северное кредитное общество закупает материалы для десятков подрядчиков, — сказал он. — Само по себе совпадение партии не доказывает причастности.

— Поэтому в акте нет слова «умышленное», — ответила Вера.

Каменец посмотрел на неё внимательнее.

— Кто составлял?

— Я. Матвей Сергеевич не мог держать перо.

— Формулировка разумная.

Вера едва заметно выпрямилась. Похвале Каменца она не доверяла, но всё равно слышала.

— Где вы были? — спросил я.

— Сначала у поверенного общества, затем в архиве залоговых переходов. Фиктивный платёж «Северному щиту» расторгнуть в одностороннем порядке невозможно без уведомления получателя. Получателя по указанному адресу нет. Товарищество ликвидировано одиннадцать месяцев назад.

— Деньги продолжали уходить.

— Со счёта списывались.

— Куда?

— Банк отказался сообщить без судебного запроса. Я подготавливаю.

— Почему не вернулись ночью?

— Архив закрылся поздно. После я ожидал приёма у секретаря Северного общества.

— До рассвета?

Каменец наконец сел.

— Меня не приняли.

— Значит, ожидание было успешным наполовину.

Агафья придвинула ему ложку. Он взял её, но каша успела застыть.

Каменец нашёл в распределении две неверные даты и попытался назвать конверт с шестьюдесятью рублями резервом обеспечения текущей деятельности. Дуня записала «не трогать». Я оставил её вариант.

— Для работы мастерской потребуется разрешение Палаты очагового надзора, — сказал Каменец, когда дошёл до восьмидесяти рублей. — Старое право Белогорьевых приостановлено после прекращения деятельности мастера и опечатывания помещения.

— Можно восстановить?

— При наличии ответственного мастера, осмотра помещения и уплаты сбора. Теоретически.

Тишин поднял голову из кружки, куда полез за очками:

— У Палаты очередь на три недели. Заявление потеряют дважды, дымоход забракуют один раз. Меня по этому порядку разорили.

Каменец повернулся ко мне:

— До выдачи разрешения производство знаков и коммерческое обслуживание очаговых контуров запрещено. Осмотр собственного имущества допустим. Аварийные действия при непосредственной угрозе жизни также допустимы, однако их необходимо заявить в Палату в течение суток.

Вера положила ладонь на акт.

— Рахиль Моисеевна подаст его сама.

— Тогда инспектор придёт раньше, чем мы подадим заявление.

— Хорошо, — сказал я. — Увидит всё сразу.

Каменец и Тишин посмотрели на меня одинаково. Это было неприятнее открытого несогласия.

— До осмотра мастерская не работает, — продолжил я. — Печати снимаем только законно. Заявление подаёте сегодня. К акту приложите копию счёта, номер партии и отдельную запись, что пластины хранятся у нас в четырёх опечатанных свёртках.

— Опечатанных чем? — спросил Каменец.

У дома не было действующей деловой печати. Родовая лежала среди предметов, которые судебный исполнитель запретил использовать при новых обязательствах.

Герасим из соседней комнаты ударил костылём в пол.

— Кляксой! — крикнул он.

Вера засмеялась первой. Не громко; смех царапнул горло, и она закашлялась. Потом взяла чистый лист и начала писать заявление.

Я попытался помочь, прижал бумагу левой рукой и сразу убрал. Под повязкой вспыхнуло так, что кухня наклонилась. Вера заметила. Ничего не сказала, только подвинула ко мне кружку сладкого чая. Так же ночью я делал вид, что сплю под её пальто; теперь она сделала вид, что чай стоял там всегда. Это устраивало нас обоих.

Через три часа сна боль стала собраннее.

Она больше не занимала всё тело, а выбрала левую руку, левое плечо и узкую полосу вдоль позвоночника. На правой ладони повязку заменили; кожа под ней покраснела, но пузыри были небольшими. Я мог держать трость и застёгивать сюртук. Для управляющего, которому предстояло открыть мастерскую, нанять людей и не упасть при свидетелях, этого хватало.

Восточный флигель стоял через двор от кухни. До него было сорок семь шагов, если идти прямо, и пятьдесят три, если обходить лужу возле каретника. Я выбрал пятьдесят три. Дар после типографии лучше было не тревожить даже счётом собственных шагов.

Тишин ждал возле дверей. Он успел вымыться, но не очистился: краска осталась в морщинах ладоней, копоть — возле ушей. Агафья дала ему старый сюртук Аркадия, слишком широкий в плечах и длинный в рукавах. Тишин подвернул

рукава четыре раза, нашёл во внутреннем кармане засохший табачный лист и теперь держал его перед собой.

— Хозяин курил трубку, — сказал он.

— Курил.

— Сначала три дня.

На наружной двери висели две бумажные полосы судебнo-го исполнения и тонкая цепь с пломбой Северного общества. Пломбу поставили поверх старого замка; бумагу приклеили к косяку. За дверью имелся небольшой приёмный тамбур, а уже из него вела внутренняя железная дверь мастерской. Её я видел на плане и ни разу вживую.

Тишин не касался печатей. Он встал на колени, поддел ножом грязь у порога и обнажил тонкую медную линию.

— Родной контур, — сказал он. — Старше двери. Возможно, старше флигеля.

Вера присела рядом, придерживая косу. После сна она сменила платье, но отцовская булавка осталась почерневшей. Металл Тишин заметил, не прокомментировал.

— Он жив? — спросила она.

— Контур не живёт.

— Я не про медь.

Тишин провёл ногтем вдоль линии. Из-под порога донёсся тихий стеклянный звон, будто внутри кто-то задел инструмент и успел поймать.

— Кто-то там есть, — сказала Вера.

— Стол, — ответил Тишин. — Большой стекольный стол.

Ножки из разного металла. Если одна осела, он звенит от шагов во дворе.

— Вы уверены?

— Нет. Поэтому хочу открыть.

Он показал на четыре железные шляпки, забитые в камень по краям двери. Три покрылись ржавчиной, четвёртую недавно чистили.

— Северное общество стянуло цепью нижний угол. Повернёте ключ — медная жила порвётся, а контур запрётся на самого себя. Потом треснет стекло и дух ползет в дымоход.

— Мы поняли, — сказал я. — Как открыть?

— Снять судебные полосы при свидетеле. Цепь — по акту. Наружную дверь не тянуть. Разгрузить левую заклёпку железным клином, прогреть медь, потом дать внутреннему затвору понять, что входит хозяин.

— Старые мастерские открывались работой, не кровью, — добавил он, когда Вера уже вытянула руку. — Дом должен назвать цель, мастер — принять инструмент, управляющий — людей.

Семён вошёл во двор с двумя мужчинами, и разговор пришлось отложить.

Первый был высокий, худой, с такими длинными руками, что рукава гражданского пальто не доходили до косточек. На левом глазу лежало белёсое пятно, правый щурился за двоих. Свёрток инструментов он нёс под мышкой, завёрнутым в детскую клеёнку с выцветшими утками. Второй шёл впере-

ди, хотя дорогу показывал Семён. Кашемировый шарф, начищенные сапоги, усы острижены по военной моде. Инструментов при нём не было.

— Иван Дорофеевич Мохов, — сказал Семён, указывая на высокого. — Восьмая сапёрная. Крепления, подкопы, полевые знаки. Пётр Климович Каширин. Вторая железнодорожная. Взрывные работы и прокладка линий.

— Бывшая, — поправил Каширин. — Теперь частные поручения. Семён сказал, у вас постоянное место.

— Семён сказал, что есть проба, — ответил я.

Каширин улыбнулся так, будто мы уже договорились, а я просто неверно назвал договор.

— Разумеется. У всех сейчас проба.

Мохов развернул свёрток. Инструменты оказались чистыми, ручки — обмотаны разной тканью. На вопрос о глазе он ответил, что стекло вынули не всё, но вблизи он видит. Каширин тут же предложил оставить его на подсобных работах.

— Проверим общую, — сказал я.

Вчерашняя атака оставила в стене кабинета пролом, пожар — ожоги, а восточный флигель имел собственный старый дымоход с трещиной. Выбирать искусственную задачу не требовалось. Мы обошли угол. Над дверью в угольный лаз кладка разошлась на два пальца; из щели сыпалась сухая извести. Лаз вёл под мастерскую и дальше к основанию трубы. Павел утверждал, что осенью пролезал там целиком. После этого Агафья запретила ему рассказывать подробности.

— Нужно понять, цела ли нижняя перевязка дымохода,
— сказал я. — Не ломая кладку и не входя в мастерскую.

Каширин первым заглянул в лаз.

— Фонарь на длинной рукояти. Или мальчишку внутрь.
Узко, зато недалеко.

Павел стоял рядом. Каширин окинул его взглядом.

— Вот этот пройдёт.

— Этот имеет имя, — сказала Вера.

— Не сомневаюсь.

— Павел, — сказал садовник.

— Прекрасно. Павел возьмёт верёвку, если кладка пойдёт
— вытянем.

Мохов присел у щели. Не полез внутрь, не постучал для вида. Взял из свёртка тонкую стальную спицу, ввёл между кирпичами и долго шевелил. Из лаза высыпалась горсть пыли. Потом ещё одна.

— Тяга сюда идёт, — сказал он. — Значит, трещина сквозная. Верх опирается на край свода. Если мальчишка заденет плечом, верёвка вытащит ноги.

Павел отступил.

— А остальное? — спросил Семён.

— Как повезёт.

Каширин нахмурился:

— Пыль от старой кладки всегда сыплется. Вы же сапёр, Иван Дорофеевич, а не нянька.

Мохов вытащил спицу и показал нам. Кончик был влаж-

ным и чёрным.

— Сажа свежая. Трубой пользовались после трещины. Сначала две стойки под свод, потом зеркало на рукояти. Человека — если не увидим.

— Сколько времени? — спросил я.

— Стойки сделать — час. Посмотреть — четверть. Что внутри, не знаю.

— А если заказчик требует ответ сейчас?

— Получит ответ: не знаю.

Каширин усмехнулся:

— С таким ответом много не заработаете.

— С другим можно заработать похороны, — сказал Семён.

Каширин повернулся ко мне:

— В полку ответственность распределялась по чину. Мастер определяет способ, рабочий исполняет. Если каждый полезет первым, кто будет думать?

— Тот, кто отправил Павла в лаз, где вы не были, — ответил я. — Вы приняты не будете.

Улыбка осталась на его лице ещё на секунду, потом исчезла.

— Из-за одного предложения?

— Из-за того, кому в нём достался риск.

— У вас дом на торгах, мастерская под печатью, лицензии нет. А вы перебираете людьми.

— Именно поэтому.

— Вы здесь устраиваете богадельню, Корнев.

— Нет. В богадельне вам дали бы обед. Ворота там.

Герасим не мог выйти, зато ворота слышали. Одна створка приоткрылась с долгим скрипом. Каширин вздрогнул и сразу сделал вид, что поправляет шарф.

Семён проводил его молча. Вернулся через минуту.

— Я с ним две переправы ставил.

— Хорошо ставил?

— Хорошо. Когда рядом был офицер.

— Здесь рядом не всегда буду я.

Семён кивнул. Лицо стало тяжелее: отказывать человеку, с которым служил, неприятно даже тогда, когда отказ правильный.

Мохов тем временем измерил лаз локтем, осмотрел ближайшие доски и отложил две.

— Эти гнилые, — сказал он.

— Вы приняты на три дня, — сказал я. — Рубль за рабочий день и еда. Если появится оплаченный выезд — доля из рабочей трети. Риском командует Семён. Опасность можно остановить без разрешения.

— А если остановлю вас?

— Причину назовёте.

— Тогда принял.

Он протянул руку, вспомнил о своих повязках и убрал.

— Договор до первой работы, — добавил Мохов.

— Дуня! — крикнула Вера через двор. — Неси бумагу!

Мохов впервые улыбнулся. Белёсый глаз не изменился, здоровый стал моложе.

К полудню стойки стояли. В лаз никто не полез. Зеркало на железной полосе показало трещину у основания трубы и старую заслонку, которую кто-то заклинил открытой. Тишин выругался, увидев её, затем потребовал записать: до ремонта печь мастерской не топить.

Причину он назвал.

На пятый день моего управления Каменец привёл судебного помощника Щукина и двух свидетелей. Временный управляющий имел право провести повторную опись, если имущество разрушалось под печатью. Это право стоило рубль восемьдесят, горячий чай и двадцать копеек старухе от трамвайной остановки, согласившейся смотреть, как чиновник снимает две бумажные полосы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.